

ПОДСТРОЧНИК ИСТОРИИ



АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ

«У ГЕРКУЛЕСОВЫХ СТОЛБОВ...»



МОЯ КРУГОСВЕТНАЯ ЖИЗНЬ

Александр Городницкий

«У Геркулесовых столбов...».

Моя кругосветная жизнь

«Яуза»

2011

Городницкий А. М.

«У Геркулесовых столбов...». Моя кругосветная жизнь /
А. М. Городницкий — «Яуза», 2011

ISBN 978-5-699-52323-8

«У Геркулесовых столбов», «Над Канадой небо сине», «На материк», «Атланты держат небо» – эти песни Александра Городницкого известны, наверное, каждому. Его именем названа малая планета Солнечной системы и перевал в Саянских горах. Его телепередача «Атланты. В поисках истины» стала одной из лучших научно-популярных программ российского телевидения, отвечая на самые сложные и спорные вопросы: где следует искать легендарную Атлантиду; ждет ли нас в будущем глобальное потепление – или, наоборот, похолодание; затопит ли наводнение Петербург; можно ли предсказывать землетрясения и цунами; почему Запад скрывает огромные захоронения химического оружия в Балтийском море и др. В своей новой книге знаменитый поэт и ученый, объехавший весь мир, плававший по всем океанам, побывавший и на обоих полюсах, и на дне глубоководных впадин, не просто подводит итоги этой «кругосветной жизни», не только вспоминает о былом, но и размышляет о будущем – какие тайны и открытия ждут нас за «Геркулесовыми столбами» обыденности, за пределами привычного мира...

ISBN 978-5-699-52323-8

© Городницкий А. М., 2011

© Яуза, 2011

Содержание

Предисловие	5
Чистые пруды	8
Острова в океане	37
Остров Израиль	57
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Александр Городницкий

«У Геркулесовых столбов...».

Моя кругосветная жизнь

Предисловие

Как говаривал когда-то главный механик на экспедиционном океанографическом судне «Крузенштерн», «самое главное – отпихнуть ногой берег». И он был, безусловно, прав – стоит судну оторваться от причала, и все земные заботы, еще совсем недавно казавшиеся самыми главными, растворяются за кормой вместе с исчезающей в тумане полоской суши. Начинается новая жизнь...

Несколько лет назад мне довелось принимать участие в Международной конференции по истории отечественной океанологии. Конференция проходила в Калининграде в музее Мирового океана. Музей этот уникальный. Его центром является легендарное океанографическое судно «Витязь», 1939 года постройки, на котором было совершено немало научных открытий. Теперь в его бывших каютах и лабораториях размещены музейные экспозиции. В одной из кают, например, сидит восковая фигура знаменитого адмирала С. О. Макарова, создателя первого «Витязя». В другом помещении – восковая фигура Жака-Ива Кусто. Поскольку я много лет назад плывал на «Витязе», то, приезжая в Калининград, я обычно живу не в гостинице, а в своей бывшей каюте, неподалеку от этих «восковых персон». В завершение конференции по традиции был устроен банкет. После застолья мы с коллегами вышли на палубу «Витязя», освещенную лунным светом, и кто-то из них сказал мне в шутку: «А ты не хотел бы, когда тебя не станет, так же, как Макаров, остаться в своей каюте?» От такого предложения меня охватил страх, и я даже протрезвел. Через пару дней, однако, вспомнив эту историю, я написал песню «Пожелание»:

Когда, путь закончив трудный,
Стану немощным и старым,
Беспольный для науки,
Попаду в небесный трал,
Дайте место мне на судне,
На котором прежде плывал,
И гитару дайте в руки,
На которой я играл.
Дайте в руки мне гитару,
Посеребренные струны,
Чтобы, жизнь начав сначала,
Стал я снова молодой.
И, рожден кассетой старой,
Зазвучит мой голос юный
У знакомого причала
Над балтийскою водой...

В 2007 году мне позвонили из моего родного Питера и пригласили принять участие в вечере «Звездные имена Петербурга», вместе с другими моими земляками, в честь которых названы малые планеты Солнечной системы. Так, неожиданно для себя я узнал, что в 99-м году

по решению Российской Академии Наук моим именем была названа малая планета № 5988 в созвездии Весов диаметром девять километров. Пару лет спустя мне прислали письмо из Сибири, в котором сообщалось, что моим именем назван перевал на Восточном Саяне. Известия как будто радостные, но мне от них почему-то стало грустно.

В марте этого года на концерте в Казанском университете я получил записку: «Уважаемый Александр Моисеевич! Не кажется ли вам, что авторская песня сегодня окончательно выродилась? Поют «под минус», поют «под плюс», вместо стихов какие-то пошлые тексты. Какое счастье, что вы до этого не дожили!» Смешная эта реплика заставила меня с грустью подумать о том, что минувший век, с которым связана большая часть моей жизни, стремительно и необратимо уходит в прошлое и становится историей, обрастая легендами и небывальщинами.

Моя жизнь делится на две примерно равные части. Первому ее этапу была посвящена книга «Атланты держат небо...» с подзаголовком «Воспоминания старого островитянина». Такой подзаголовок был дан книге не случайно. Я родился в далеком 1933 году на Васильевском острове в Ленинграде, пережил блокаду и, окончив среднюю школу, поступил на геофизический факультет Ленинградского горного института. По окончании института я был принят на работу в Научно-исследовательский институт геологии Арктики, где проработал около семнадцати лет. Каждый год я отправлялся летом на полевые работы в различные районы Крайнего Севера. Там я начал писать песни. В 1964 году побывал на дрейфующей станции на Северном полюсе.

В 1962 году я впервые отправился в океанскую экспедицию на борту военного океанологического парусника «Крузенштерн». В 1963 году, во время очередной экспедиции в Северную Атлантику, «Крузенштерн» зашел в Гибралтар, и я впервые увидел знаменитые Геркулесовы столбы в Гибралтарском проливе. Там я написал, ставшую широкоизвестной, песню «У Геркулесовых столбов». Океанские плавания на «Крузенштерне» круто изменили мою жизнь. В 1972 году я переехал в Москву и перешел на работу в Институт Океанологии им. П. П. Ширшова Академии Наук СССР. С этого времени начался второй этап моей жизни, с которым связаны регулярные плавания в самые разные районы Мирового океана. Мне довелось участвовать более чем в двадцати рейсах научно-исследовательских судов в различные районы Мирового океана, побывать в Антарктиде, Австралии и Новой Зеландии, неоднократно погружаться на океанское дно в подводных обитаемых аппаратах, искать легендарную Атлантиду. И всюду, где бы я ни находился, я постоянно вспоминал Геркулесовы столбы, край древней ойкумены, где атланты держат небо. За пределами Геркулесовых столбов, «в истинном Понте», как указывал знаменитый Платон, автор легенды об Атлантиде, начинается неведомый мир, таящий неизвестные тайны и открытия.

В последующие годы мне посчастливилось вместе с ведущими российскими учеными Олегом Георгиевичем Сорохтиным и Львом Павловичем Зоненшайном принимать участие в разработке основных положений теории тектоники литосферных плит, которая произвела настоящую революцию в науках о Земле. Вместе с тем нельзя не признать, что чем более я погружался в научную работу, тем дальше уходил от понимания многих научных постулатов, которые в студенчестве казались ясными и простыми. Это относится к устройству геомагнитного поля, к происхождению жизни на Земле и многому другому.

Именно этому второму, «московскому», этапу посвящена новая книга воспоминаний. Наряду с рассказами об экспедициях и поездках значительное место в ней уделено памяти выдающихся российских поэтов и писателей фронтового поколения, с которыми мне довелось дружить. Некоторые главы книги написаны по мотивам автобиографического сериала документальных фильмов «Атланты держат небо», снятого совместно с тележурналисткой Натальей Касперович и оператором Семеном Фридяндом.

Жизнь моя пошла на последний поворот, как в старой песне «Перекаты», и мне хотелось бы успеть рассказать о людях, которые сыграли немалую роль в моей жизни и которым я благодарен за формирование в моей душе того, что не очень точно называется мировоззрением. В книгу вошло немало стихов и песен, иллюстрирующих написанное. Автор считает своим долгом выразить благодарность Наталии Аккуратовой, Яне Глезиной и Игорю Петровскому за помощь в подготовке книги к изданию.

Когда-то в песне, появившейся в далеком 1970 году, я написал такие строчки:

Пусть годы с головы дерут за прядью прядь.
Пусть грустно оттого, что без толку влюбляться, —
Не страшно потерять умение удивлять, —
Страшнее потерять умение удивляться.

Так что старым я себя пока не считаю.

Чистые пруды

Все, что будет со мной, знаю я наперед,
Не ищу я себе провожатых.
А на Чистых прудах лебедь белый плывет,
Отвлекая вагоновожатых.
На бульварных скамейках галдит малышня,
На бульварных скамейках – разлуки.
Ты забудь про меня, ты забудь про меня,
Не заламывай тонкие руки.
Я смеюсь пузырем на осеннем дожде,
Надо мной – городское движенье.
Все круги по воде, все круги по воде
Разгоняют мое отраженье.
Все, чем стал я на этой земле знаменит, —
Темень губ твоих, горестно сжатых...
А на Чистых прудах лед коньками звенит,
Отвлекая вагоновожатых.

В начале 1970-х годов я переехал из Ленинграда в Москву. Переезд этот был для меня мучительным. Даже когда меняешь что-нибудь одно – работу, семью или место, где живешь, долго не можешь привыкнуть к новому. Мне же пришлось поменять все сразу. Из родного своего Института геологии Арктики, где я к тому времени руководил лабораторией морской геофизики, я попал в Институт Океанологии на должность старшего научного сотрудника не в научные отделы, где мест не было, а в административную группу «Координационного центра стран – членов СЭВ».

Мой безвременно ушедший из жизни друг Игорь Михайлович Белоусов рассчитывал через полгода перевести меня к себе – в отдел геофизики и тектоники океанического дна, но его внезапная смерть поломала эти планы. Ни о какой геологии и геофизике в координационном центре не могло быть и речи. В обязанности мои входили obsлуга приезжающих из соц-стран ученых, а также составление и переписывание бесконечных бумажек и мертворожденных планов совместных работ и совещаний. Эта бессмысленная бумажная служба с первых же дней вызвала у меня непреодолимое отвращение. Профессор Глеб Борисович Удинцев, руководивший в то время отделом геофизики и тектоники океанического дна, как оказалось, весьма неприязненно относился к Игорю и ясно дал мне понять, что на перевод мой в его отдел я рассчитывать не могу. Что было делать? Уезжать несолоно хлебавши обратно в Ленинград? Я и в самом деле начал всерьез подумывать об этом и даже договорился с дирекцией своего бывшего института о возвращении. Однако осенью 72-го года я познакомился с Олегом Георгиевичем Сорохтиным, готовившим тогда к защите докторскую диссертацию и увлекавшимся идеями тектоники литосферных плит, который согласился взять меня на работу в свою группу. С большим трудом, благодаря активной поддержке Сорохтина и благорасположению грозного директора Мони́на, мне удалось наконец расстаться с Координационным центром и перейти в группу тектоники литосферных плит, преобразованную позднее в лабораторию.

Олегу Сорохтину я обязан не только служебным переводом, но и многим другим. Будучи человеком, фанатично увлеченным современной геологической концепцией формирования и эволюции нашей планеты, геофизик с широким кругозором и дерзкой поэтической фантазией, он сумел обратить в свою, тогда еще довольно крамольную, веру своих ближайших сотрудни-

ков, в том числе и меня. До встречи с ним я считал себя специалистом по магнитному полю, и мне этого вполне хватало. В дебри глобальной геологии и тектоники я не вникал, считая это излишним. «Чем вы занимаетесь?» – спросил он у меня при первой встрече и, узнав, что магнитным полем, скептически улыбнулся: «У американцев, да и у всех других зарубежных ученых нет такого понятия – магнитчик, сейсмик, электроразведчик. Есть одно понятие – геофизик. Ведь Земля – физическое тело, и, чтобы изучать ее, надо свободно владеть не одним, а несколькими геофизическими методами сразу. Иначе ничего не выйдет».

Сам Олег, сейсмик по образованию, да еще с «аппаратурным» уклоном, довольно свободно разбирался в физике Земли, теории геофизических полей, геологии и геохимии, не говоря уже о магнитном и гравитационном полях, сейсмике, тепловом потоке и так далее. Именно Сорохтин сделал меня убежденным сторонником новой глобальной теории – тектоники литосферных плит, основывающейся на идеях дрейфа континентов.

Надо сказать, что в начале 70-х годов концепция эта, уже получившая всеобщее признание на Западе, у нас считалась еретической. Вся «старая гвардия» отечественной геологической науки во главе с членом-корреспондентом В. В. Белоусовым, возглавлявшим Международный геофизический комитет, Академия наук, Министерство геологии, Московский государственный университет стеной встали против этого «буржуазного направления». В свете этого нельзя не отдать должное Андрею Сергеевичу Монину, который, будучи одним из ведущих ученых в области математики и физики, не только сам активно включился в разработку математической модели конвекции, приводящей к дрейфу континентов, но и не побоялся организовать у себя в институте специальную лабораторию «тектоники плит». В то время это было все равно что поднять красный флаг на броненосце «Потемкин». Вот в эту лабораторию мне и повезло попасть.

Нельзя не отметить при этом, что характер у Монины был крутой, вспыльчивый. Трудясь помногу сам, он требовал такой же отдачи от других, поэтому работать с ним, а тем более под его началом, было совсем не просто. Я помню, как, тяжело отдуваясь и хватаясь за сердце, выходил из директорского кабинета его заместитель по Южному отделению в Геленджике Яков Петрович Маловицкий. «Саня, – сказал он мне, вытирая платком пот со лба, – с Мониним же невозможно работать! Он требует от своих сотрудников мировых открытий, и при этом – каждый день!»

Сам Яков Петрович, один из ведущих ученых в области морской геологии и геофизики, прекрасный организатор, позже ушел из нашего института и стал большим начальником в Министерстве нефтяной промышленности – генеральным директором объединения «Союзморгео», помещавшегося в Мурманске. Помню, как, сидя у меня на кухне в Москве, он вызывал по телефону такси, чтобы доехать до аэропорта: «Саня, мне главное – до аэропорта добраться и в Мурманск улететь. А там я уже начальник, понял?»

В те поры для морских ведомств в Министерствах геологии и нефти была введена морская форма, но с какими-то довольно странными геологическими и совершенно не морскими атрибутами вроде молоточков и буровых вышек на рукавах и петлицах. Несмотря на огромное количество «золота», форма эта на непосвященных производила неоднозначное впечатление.

Вспоминаю, как мы вместе с Маловицким несколько лет спустя в гостях у нашего общего приятеля Сергея Александровича Ушакова, тоже, к сожалению, ушедшего из жизни, отмечали присвоение хозяину дома профессорского звания. Кончилось спиртное, и я предложил сходить в ближайший магазин за бутылкой коньяка. «Я с тобой, – заявил Маловицкий, натягивая на свои необъятные плечи расшитый золотом мундир штатского адмирала с депутатским значком на лацкане. – Мне без очереди дадут». С этими словами он нахлобучил на голову гигантскую фуражку с золоченым «крабом», обнимавшим изображение буровой вышки, и мы отправились. Очередь в винном отделе действительно оказалась большой. «Девушка, бутылку коньяка», – сиплым начальственным тоном произнес Яков Петрович, успешно растолкав своей

грузной позолоченной фигурой толпу алкашей у прилавка. Неопрятного вида продавщица с испытанным лицом окинула хмурым похмельным взглядом непонятную форму и неожиданно изрекла: «Гражданин, мы в спецодежде не обслуживаем!»

Что же касается тектоники литосферных плит, то ее идеи увлекли меня своей ясностью и удивительной согласованностью как с законами физики, так и с многочисленными геологическими фактами, до этого казавшимися грудой разрозненных сведений, никак между собой не связанных. Планета наша, представлявшаяся до этого неодушевленной неорганикой, оказалась подобием живого организма.

С увлеченностью, сильно подхлестнутой почти годовым отрывом от науки, я взялся за работу. Приходилось в сорок лет переучиваться заново, осваивая азы физики Земли, гравиметрии, геотермии, тектоники, вулканизма, палеомагнетизма и так далее. Мне часто вспомнились слова моего друга, безвременно погибшего в 1960 году талантливого геолога Станислава Погребницкого: «В науке лучше работать под заведомо ложную идею, чем вообще под никакую».

Забавно, что эту фразу я неожиданно встретил в методических наставлениях Российского фонда фундаментальных исследований при Президиуме Академии наук, где содержались рекомендации по составлению научных проектов, подаваемых для получения научных грантов: «Как правильно написал в своей книге один из грантодержателей, профессор Городницкий, в науке лучше работать под заведомо ложную идею, чем под никакую». Фраза эта, однако, принадлежит не мне, а Стасу.

Одной из наиболее характерных особенностей моих собратьев-геофизиков, да, видимо, и моей, возвращенной в нас за долгие годы, было скупердяйское дрожание над полученными экспериментальными данными или какой-нибудь третьесортной идейкой. Общение с Олегом полностью изменило эти мещанские представления. Он щедро расшвыривал идеи, которых у него было всегда великое множество, как будто совершенно не заботясь о собственном авторстве.

Именно он впервые открыл мне глаза на то, что любой собранный экспериментальный материал – карта, разрез, результаты лабораторных анализов, – не одухотворенный ведущей идеей, мертв. Наше стремление участвовать во все новых съемках в океане он поддерживал далеко не всегда. «Надо ли тратить свои силы на получение нового материала, когда так много необработанного и необдуманного старого?» Когда я, споря с ним, говорил о практической пользе, о полезных ископаемых, он отмахивался: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория».

Забегая вперед, должен сказать, что немалую роль в становлении моего еще не оперившегося тогда научного самосознания сыграл другой замечательный ученый – Лев Павлович Зоненшайн, один из ведущих тектонистов мира, с которым мне посчастливилось работать вместе во второй половине 70-х годов.

В истории науки, как и в истории искусства, время от времени вдруг вспыхивают, озаряя окружающих, имена людей, которые, кажется, самим Богом были призваны к яростному познанию окружающего мира, жизнь которых была подвижнически посвящена любимому делу. «Одна, но пламенная страсть», – как писал Лермонтов. Именно Лермонтов почему-то и вспоминается мне, когда я думаю о Льве Павловиче Зоненшайне, хотя он ушел из жизни уже за шестьдесят, и никто его как будто не травил и не убивал. Вспоминается потому, видимо, что поэтическая легкость его геологического таланта и те потенциальные творческие возможности, которые были в нем сокрыты, заставляют нас, его современников, только горестно разводить руками после его безвременной кончины. Сколько бы он мог еще сделать, открыть! Какие карты построить, какие книги написать! Подобное горестное ощущение возникло у меня в свое время после внезапного известия о гибели Высоцкого.

Познакомились мы с ним в 1975 году, когда он пришел к нам в отдел из Министерства геологии. Тогда наш уже упомянутый выше директор Монин собирал группу ученых для раз-

вития идей теории тектоники литосферных плит, в ту пору, как я упоминал, революционной и в нашей стране – полузапрещенной. К этому времени Лев Павлович уже был широко известен как один из ведущих отечественных геологов, крупный специалист по тектонике Монголии и ряда восточных областей Союза. Мне посчастливилось вместе с ним и, конечно, под его идейным руководством составлять реконструкции положения континентов и океанов в фанерозое (время явной жизни на Земле) – от 570 миллионов лет тому назад до нашего времени.

В этой большой работе, требовавшей анализа огромного количества геологических, палеомагнитных и палеоклиматических материалов, в мою задачу входило обобщение палеомагнитных данных и создание палеомагнитной основы для реконструкций континентов в основные периоды истории Земли, а Лев Павлович работал с геологическими и палеоклиматическими материалами.

Институт наш тогда ютился еще в Люблино, в старом запущенном дворце конца XIII века, некогда принадлежавшем вельможе павловских времен графу Дурасову. Став в свое время командором ордена мальтийских рыцарей, Павел I пожаловал звание мальтийского рыцаря графу Дурасову, и тот построил свой дворец в форме мальтийского креста. Места во дворце, несмотря на его бывшее великолепие, было мало. Поэтому работали мы дома у Зоненшайна, на тесной кухне маленькой двухкомнатной квартиры в «хрущевской» пятиэтажке, неподалеку от метро «Каховская».

В те годы компьютеров у нас не было и в помине, поэтому все построения проводились вручную на старом школьном глобусе, который под конец был так обшарпан, что на нем было уже невозможно различать широты. Сами континенты при этом выпиливались лобзиком из пластинок плексигласа. Чтобы придать им кривизну, в соответствии с поверхностью глобуса, плексовые пластинки приходилось долго нагревать над паром, обжигая себе руки.

Надо сказать, что для «изготовления континентов», кроме непослушного плекса, мы старались использовать все, что попадалось под руку, – от раскученных кухонных кастрюль до консервных банок. Только через пару лет, с появлением компьютерных программ, мы стали работать цивилизованно – на ЭВМ.

С первого дня работы Лев поразил меня глубиной своих поистине энциклопедических знаний в геологии, причем не только по самым разным регионам нашей страны или Центральной Азии, где он работал, но и по любой области мира. Это был буквально живой банк геологических данных, подобно тому как Натан Эйдельман был примерно таким же «банком» данных исторических. Наряду с уникальной памятью, всех, кто с ним работал, поражала его нечеловеческая работоспособность. Будучи «жаворонком», он поднимался с рассветом и работать был готов, кажется, круглосуточно. «Тянуть» с ним в паре было невероятно трудно, тем более что он и от партнеров своих требовал такой же преданности работе и результативности. Кстати, и ходил он весьма лихо. Мне довелось как-то в Геленджике попасть с ним вместе на прогулку в горы, и я с большим трудом поспевал за ним, хотя и сам за много лет геологических экспедиций привык к длительным пешим переходам.

Самое для меня удивительное, что, при всей своей постоянной занятости, Лев Павлович ухитрялся каким-то непонятным образом прочитывать последние литературные новинки и быть в курсе всех сколько-нибудь заметных событий в искусстве и общественной жизни, хотя, конечно, и не без активной помощи его жены Ирины. С этой точки зрения он был не ученым сухарем, озабоченным лишь доскональными знаниями в своей области, а по-настоящему культурным человеком. При этом он обладал безошибочным вкусом в литературе, живописи и театре, остро и болезненно реагировал на любую фальшь и был нестигаем, когда речь заходила о любой форме идейного компромисса с собственной совестью. В августе 91-го он не мог не быть на баррикадах у Белого дома.

В итоге нашей совместной работы в 1976 году мы с Зоненшайном построили серию карт – реконструкций взаимного расположения континентов и океанов на поверхности нашей пла-

неты от раннего кембрия до наших дней. Получилось пять древних глобусов с интервалами около ста миллионов лет, по которым можно было проследить дрейф континентов, раскрытие и закрытие древних океанов. Составленные реконструкции позволили, в частности, сделать вывод о том, что все складчатые пояса и горные хребты возникли по большей части из-за столкновения материков при закрытии древних океанов. Удалось также показать, что образование и распад гигантского суперконтинента Пангеи в истории нашей планеты происходили неоднократно со средним интервалом около восьмисот миллионов лет. В том же году наши реконструкции были опубликованы в журналах «Природа» и «Геотектоника», а позднее в издательстве «Наука» вышла наша совместная книга «Реконструкции материков в фанерозое».

Как я уже упоминал, новая глобальная теория была поначалу в штыки принята нашей официальной наукой. Сталинский колхозный строй не мог не породить Лысенко. И не только в одной биологии. Идеологическое обоснование существовавшего долгие годы тоталитарного режима требовало жесткого единоверия во всех областях науки – от математики до истории. Аналогичная ситуация сложилась и в геологии. Возрождение теории дрейфа континентов, предложенной впервые великим немецким ученым Альфредом Вегенером, на основе тектоники литосферных плит вызвало резкую критику со стороны Академии наук и главных чиновников от науки. Ее, так же как некогда кибернетику, сразу же объявили «буржуазной лженаукой». Приверженцам этой теории в те годы не давали защищать диссертации, выбрасывали их статьи из научных изданий, старались не пускать за рубеж на международные конференции.

Сейчас это кажется странным: факты есть факты, при чем тут идеология? А при том, что новые идеи полностью подрывали основы старой «фиксистской» теории о неподвижности континентов и океанов, на основе которой в нашей стране уже была создана картина размещения полезных ископаемых – угля, нефти, алмазов, металлов и так далее. За все это уже были получены звания, должности и премии. Зачем же пересматривать? Взорвать такое крепкое здание «советской геологической науки» было очень нелегко.

Сразу же после выхода нашей с Зоненшайном книги «Реконструкции материков в фанерозое» один из ревностных охранителей старой «фиксистской» теории тут же настроил на нас объемистый донос с политической подоплекой и послал его в Президиум Академии наук. В этой замечательной бумаге авторы книги обвинялись в «низкопоклонстве перед буржуазной наукой и попытке обмануть простых советских людей». Подчеркивалось также нерусское звучание наших фамилий. Вот отрывок из этого вопиюще безграмотного документа:

«Эти ваши ученые отстаивают и доказывают реакционное воззрение господ мобилистов» (далее – цитата из Ленина). «Авторов не устраивает марксизм-ленинизм, и они ищут опору в других теориях. Это очевидно из их отбора палеополлюсов. Видимо, эта теория господ Городницкого и Зоненшайна больше устраивает, но она не устраивает всех советских людей, всех людей труда».

Донос был всерьез направлен к нам в институт с визой академика-секретаря нашего отделения Л. М. Бреховских, и мы с Зоненшайном вынуждены были писать подробную объяснительную записку.

Вспоминаю, как пару лет спустя мы вместе с Л. П. Зоненшайном и нашим общим другом и коллегой М. И. Кузьминым (сейчас он академик и директор Института земной коры в Иркутске) принимали участие в работе Всесоюзной школы по морской геологии в Геленджике. Жили мы втроем в тесном номере гостиницы, когда выяснилось, что в Тбилиси в эти самые дни тоже проходит какая-то важная тектоническая конференция, где Лев Павлович должен делать доклад. Он тут же собрался и поехал на аэродром, и мы с Михаилом остались вдвоем.

Как раз на следующий день на нашей школе состоялось пленарное заседание, посвященное проблемам глобальной тектоники, на котором были поставлены доклады именитых московских ученых, в которых резко осуждалась теория тектоники литосферных плит. Соответственно этому приняло разгромный характер и обсуждение докладов в прениях. Мы с

Михаилом, будучи тогда еще кандидатами, пытались защищаться, однако успеха у научной аудитории не имели – не та весовая категория. Отсутствие нашего лидера – Зоненшайна – сыграло свою роковую роль. Расстроенные, мы пошли вечером в гости, где с помощью крепких напитков попытались снять нервный стресс и укрепить свое красноречие.

Когда поздно ночью мы возвратились к себе в гостиницу и зажгли свет в номере, то обнаружили там Льва Павловича, который уже спал, утомленный трудным перелетом туда и обратно. Мы с Михаилом, конечно, тут же его разбудили и наперебой начали энергично объяснять, как нас сегодня разгромили на заседании и как нехорошо поступил Зоненшайн, предательски покинувший нас одних на растерзание научным противникам. Лева, сев на кровати, внимательно слушал наш весьма эмоциональный, но сбивчивый рассказ, испуганно хлопая спросонок своими красивыми длинными ресницами, пока взгляд его не упал на недопитую бутылку «Столичной», торчавшую у Кузьмина из кармана пиджака. «А вы все пьете, негодяи, – неожиданно закричал он на нас, – всю тектонику плит пропили!» Сам Лев Павлович, как я заметил,пил крайне мало, да и то по необходимости.

Одной из главных черт Зоненшайна была его изначальная доброжелательность. К нему мог обратиться любой геолог из самой глубокой провинции за консультацией и за помощью, и он ни разу не отказал никому, несмотря на постоянную загруженность работой. Сколько диссертаций помог он написать! Обращает на себя внимание, что большая часть книг и статей Л. П. Зоненшайна написаны в соавторстве, ибо он был крайне щепетилен, пользуясь чужим трудом или материалами. Однако всегда главным автором был он.

Будучи однолюбом в науке, он буквально жил работой, занимавшей всю его жизнь без остатка, как будто чувствовал, что времени ему отпущено мало. Даже прикованный к постели неизлечимой болезнью, и здесь в России, и в США, куда поехал на послеоперационное лечение, он до самого последнего момента старался работать, не давая себе пощады. Бездельников не любил, утверждая при этом, что есть две категории бездельников – одни просто ничего не делают, а другие при этом создают видимость кипучей деятельности.

Справедливости ради следует сказать, что его собственный научный путь был весьма тернистым. Мягкий, отзывчивый в быту, в научных спорах он был непримирим, чем нажил себе немало недоброжелателей. Мне еще в 1985 году довелось быть свидетелем его абсолютного научного авторитета среди зарубежных ученых. В том году в Праге состоялась очередная Ассамблея Всемирной ассоциации магнитологов, где у Льва Павловича было запланировано несколько докладов, в том числе и наш совместный доклад о реконструкциях материков в докембрии.

В Ассамблее принимало участие множество знаменитых ученых из разных стран мира, имена которых были известны мне только по их работам. «Надо бы подойти к ним, представиться», – волновался я. «Не надо, – спокойно отрезал Зоненшайн, – сами придут». Он оказался прав – они все явились на его доклад и толпились вокруг, задавая вопросы и наперебой предлагая сотрудничество. К сожалению, как это нередко у нас бывает, его зарубежный научный рейтинг значительно опередил его широкое признание в отечественных научных кругах. Высокие слова в его адрес и научные почести несколько запоздали.

И еще одно неоценимое достоинство было для него характерно – он был блестящим научным оппонентом. От его беспощадной критики рассыпались в один миг с большим трудом возведенные и, казалось бы, несокрушимые научные зиккураты. Мне неоднократно приходилось с ним спорить, и каждый раз он виртуозно клал меня на лопатки, как олимпийский чемпион неумелого новичка. В то же время, если работа выдерживала его критику, с ней можно было смело выходить на любой уровень – другие оппоненты были уже не страшны.

Лев Павлович оставил после себя немало монографий, посвященных геодинамике Земли, ее геологической истории. Одна из его последних книг «Тектоника СССР» вышла в

США незадолго до его смерти. Когда-то, в 1981 году, в день его рождения, я написал на своей книжечке стихов, подаренной ему:

Не суждено нам умереть
В век общего веселья:
Меня по пьянке будут петь,
Тебя – читать с похмелья.

С горестным чувством вспоминаю я теперь эти строки, когда перелистываю его книги и думаю о тех, что так и не написаны.

Вернемся, однако, в начало 70-х. В самом начале моей работы в Институте океанологии, в конце июля 1972 года, сразу же после неожиданной смерти Игоря Белоусова я попал в организованную им экспедицию по морям Ледовитого океана. Идея Игоря состояла в том, чтобы пройти по всей трассе великого Северного морского пути на речных судах, караван которых ежегодно перегоняли из Архангельска в дальневосточные моря. Было договорено, что специальный геофизический отряд будет вести попутные работы на борту одного из перегоняемых судов. В состав отряда, который Игорь должен был возглавить сам, он планировал включить своих друзей – Валю Смильгу и Натана Эйдельмана. В полярный рейс, однако, нам пришлось отправиться уже без него.

По-архангельски холодным августовским днем мы вшестером погрузились на борт транспортного суденышка типа «река-море», построенного в Финляндии. Его надлежало перегнать в составе каравана таких же судов из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Перегоном судов по трассе Северного морского пути занималась тогда «Экспедиция Спецморпроводок Севморпути», помещавшаяся в Ленинграде. Перегон этот требовал от экипажей особенной выучки и сноровки. С одной стороны, капитанам и штурманам надо было разбираться в сложной речной навигации, непривычной для моряков. С другой – на речных судах, не рассчитанных на морские шторма и ледовую обстановку, необходимо было пройти по трассе вдоль всего побережья Ледовитого океана, где и ледокольным пароходам со специальной ледовой обшивкой плавать далеко не безопасно.

Народ в перегонной экспедиции, возглавляемой старым полярником Наяновым, подобрался довольно лихой. Капитаном на нашем теплоходе был Владимир Малышев, примерно за год до этого плававший по перегонной трассе вместе с писателем Виктором Конечким, посвятившим этому рейсу свою повесть «Соленый лед».

Следует сказать, что с самим Виктором Конечким, чьи морские рассказы и повести пользуются неизменной популярностью среди моряков, мне довелось познакомиться только в конце 80-х в Доме творчества писателей в Пицунде. Изящно сложенный, худощавый и пасмурный человек в сером пиджаке разительно отличался от могучего облика просоленного ветрами всех океанов морского волка. Кстати, именно в Пицунде произошло тогда одно комическое событие, связанное с упомянутой выше «штатской морской формой». В Доме творчества был огромный столовый зал со стенами, украшенными мозаиками, изображавшими сочные кавказские пейзажи. Несколько сот отдыхающих заполняли его во время обеда, оживленно беседуя за своими столами. Вдруг шум стих, и все повернули головы к входу. Я обернулся следом за другими и увидел, что в зал вошел, даже не вошел, а как бы величественно вплыл огромного роста адмирал в белой ослепительной тужурке с золотыми рукавами и разноцветными орденовыми колодками. Держа в левой руке морскую фуражку с высокой тульей и белоснежным верхом, он, не глядя ни на кого, но явно довольный произведенным эффектом, медленно, как на параде, прошествовал к своему столику с гордо поднятой головой и так же, не глядя ни на кого, сел. «Виктор Викторович, – негромко сообщил я Конечкому, поедавшему свой винегрет по соседству, – смотрите, адмирал». Конечкий поднял голову и вдруг, бросив вилку, встал и мелкими

шажками пошел к адмиральскому столику. Небольшого роста, вровень с сидящим адмиралом, стремительно сосредоточенный, он походил на торпедный катер, атакующий огромный транспорт противника. Не дойдя до цели нескольких шагов, он круто развернулся и так же быстро пошел обратно, презрительным шепотом бросив мне на ходу: «Говна-то, адмирал, – речной директор!» И сел, довольный, доедать винегрет.

Возвратимся, однако, в арктические моря. Группу нашу вместо Игоря возглавлял начальник отдела кадров института Владимир Михайлович с весьма нетипичной в те времена для начальника отдела кадров фамилией Гринберг. «Не только единственный в стране начальник отдела кадров с такой фамилией, но и единственный Гринберг, который по паспорту осетин», – говаривал он. Натан Эйдельман в рейс пойти не смог, и единственным из Игоревых друзей, принявших участие в экспедиции, оказался Смилга.

Помню, как, прибыв в Архангельск, где нас, приехавших раньше, несколько дней не селили в гостиницу «Двина», он заявился прямо к директору гостиницы в старом ватнике и шляпе, заросший седоватой щетиной. «Смотрите, до какого состояния довели интеллигентного человека», – заявил он ошарашенному директору, после чего нас всех немедленно поселили в «люкс». Используя его опыт, примерно такую же операцию мы провели и по окончании экспедиции, уже в Хабаровске, ухитрившись выбить номер в интуристовской гостинице для «академика Гринберга».

Двухмесячный рейс из Архангельска в Николаевск-на-Амуре, несмотря на все трудности и даже опасности, связанные с ним, особенно ледовая проводка в проливе Вилькицкого, где наше утлое суденышко затирало льдами, вспоминается до сих пор как один из самых интересных и стоит любого из зарубежных рейсов. Плоские берега Баренцева и Карского морей, скалистые берега Охотоморья, пронзительные желтые закаты острова Вайгач и безмолвная цветомузыка полярного сияния в Чукотском море.

Пушечный гром ломающихся льдин, их визжащий, надрывающий сердце скрежет о тоненькие борта, когда мы все в спасательных жилетах, с пластырями и брусками наготове, чтобы заделать пробоину, стоим на расписанных постах и ждем – авось пронесет. А бесконечная работа по обкалыванию льда с палубы, чтобы судно не перевернулось в шторм! А вечно окровавленные ладони, которые не спасти от ржавой стали швартового троса никакими брезентовыми перчатками! Поскольку экипаж на судне был только половинного состава, то нас всех использовали на общесудовых авралах и работах.

По мере нашего движения на восток пришлось заходить на острова Колгуев и Вайгач, в Андерму на Диксон и другие точки побережья, отстаиваясь то от шторма, то от ледовых полей. Около двух недель наше суденышко «Морской-10» простояло вместе с другими судами на рейде у острова Вайгач, ожидая улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли. Была короткая полоса ненадежного северного лета – середина августа. На Вайгаче цвела тундра. Неожиданное для сурового и безжизненного северного ландшафта с его черно-белой графикой, буйство красок недолгого цветения хрупких, но непобедимых полярных трав и ягеля так поразило меня, что я, кажется впервые в жизни, испытал острое чувство зависти к художникам. Только их талант позволяет запечатлеть и увековечить этот странный и неповторимый миг, когда под лучом полярного солнца вдруг вспыхивают желтыми, золотыми и алыми цветами недолговечные ковры летней тундры. Когда я теперь думаю о красотах многочисленных островов, на которых мне посчастливилось побывать, я вспоминаю не знаменитый пляж Вайкики на Гавайях, не похожий на летящую бабочку остров Гваделупа и не сказочный остров Маврикий – «ключ от Индийского океана», а цветущую тундру на арктическом острове Вайгач. Во время этой стоянки я «на нервной почве» написал стихи «Тени тундры», к которым актер ленинградского театра Ленинского комсомола Юрий Хохликов придумал мелодию. Получилась песня. В 2000 году Юры не стало.

...Я повторять готов, живущий трудно,
Что мир устроен празднично и мудро.
Да, мир устроен празднично и мудро,
Пока могу я видеть каждый день
Тень облака, плывущего над тундрой,
Тень птицы, пролетающей над тундрой,
И тень оленя, что бежит по тундре,
А рядом с ними – собственную тень.

Навсегда врезались в память и скалистые отвесные берега Берингова пролива, разделяющего два сумрачных материка – Евразию и Америку. Прямо над нашим судном, как мне показалось, проплыл в сумеречном тумане на нависшей над водой скале огромный черный каменный крест, который водружен здесь в память Семена Дежнева «со товарищи». До сих пор помню неуловимую смену красок волн в проливе, где свинцово-стальные воды Ледовитого океана понемногу сменяются зелеными тихоокеанскими.

Неповторимая красота цветущей тундры стала, однако, не единственным воспоминанием об острове Вайгач. Мы нашли там обгоревшие остатки гниющих бревен, мотки ржавой колючей проволоки и разбитые взрывами базальтовые глыбы. Местные жители, ненцы, которых переселили сюда с Новой Земли, где в 50-е годы был организован полигон для испытаний атомной бомбы, рассказали нам, что здесь в 30-е годы был огромный концлагерь. Заключенные, обреченные на верную гибель, подняли восстание. Согласно легенде, когда об этом доложили Сталину с предложением послать карательный отряд, он сказал: «Зачем посылать людей? Лучше испытать новые бомбометатели наших бомбардировщиков». Бомбометатели испытали, уничтожив все живое на острове, включая охрану.

О доме не горюй, о женщинах не плачь
И песню позабытую не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач
Меж старою и Новою Землей.

В этом рейсе нам повезло. Мы ухитрились за одну навигацию, без аварий и вынужденной зимовки во льдах, проскочить всю трассу Северного морского пути, что, как оказалось, бывает нечасто. В самом тяжелом в ледовом отношении месте – проливе Вилькицкого, между полуостровом Таймыр и Северной Землей, нас проводил атомный ледокол «Ленин», тогдашний флагман ледокольного флота. Своим мощным корпусом он пробивал узкий фарватер в массивном ледовом поле, который буквально через несколько минут полностью забивался глыбами ломаного льда. Поэтому надо было идти сразу же за ним. Это, однако, тоже не безопасно. Стоя на правом крыле мостика во время проводки, я хорошо видел, как из-под мощных винтов ледокола вылетают, бешено вращаясь, гигантские ледяные глыбы и несутся к нам, гонимые кильватерной струей. Один удар такой ледяной чушки – и наш тоненький борт, совершенно не рассчитанный на льды, пробьет насквозь.

Неподалеку от меня в ходовой рубке стоят бледные капитан и рулевой, руки которого судорожно сжимают ручки машинного телеграфа – то «малый вперед», то «стоп». Страшно идти навстречу этим стремительным ледовым глыбам! А с ледокола командир проводки по радио громовым голосом на весь караван прямым российским текстом говорит все, что он думает о самом капитане, о его ближайших родственниках, обо всех, кто с ним на одном борту. «Полный вперед! – гремит его приказ во всех динамиках. – Ты что, здесь зимовать собрался?» Действительно, всего несколько минут нерешительности – и недолгий фарватер снова заполняется льдом. Ледоколу надо возвращаться и начинать все сначала. А за нашей кормой густо

дымят и нетерпеливо сигналият другие суда каравана, которые начинает затирать сходящимися ледяными полями. И идти опасно, и останавливаться нельзя!

В полярной экспедиции мы проводили попутные гидромагнитные и сейсмоакустические работы, а также эхолотный промер. Вольдемара Петровича Смилга, которого сразу же полюбила наша весьма разношерстная команда, наполовину набранная из алиментщиков и алкашей, списанных с других судов, посадили на вахту на эхолот. К своим служебным обязанностям он относился весьма философски.

Помню, как-то я поднялся в эхолотную во время его вахты и обнаружил, что эхолот выключен, а вахтенного нет. Возмущенный, я помчался вниз и обнаружил Смилга в его каюте, где он возлежал небритый на сколоченном для него топчане в окружении таких же небритых и неряшливо одетых личностей из команды, благоговейно внимавших его словам. «Так вот, все вы теперь ясно видите, что каждый из нас – всего лишь мышь перед лицом Господа», – услышал я его тихий и как бы потусторонний голос, когда распахивал дверь. «Валька, скотина, ты что же делаешь? – заорал я, ворвавшись в каюту. – Эхолот же стоит. Марш на вахту!» В этот миг я внезапно почувствовал, что какая-то сила, сдавив мне горло воротом моей куртки, отрывает меня от палубы. «Заткнись, сука, – услышал я яростный шепот огромного моториста, схватившего меня сзади за ворот гигантской волосатой лапицей. – Не мешай – человек мыслит!»

Каюта моя находилась рядом с каютой старшего механика, молодого парня, который заочно учился в каком-то техническом вузе. Смилга, как доктор физ. – мат. наук, взялся готовить его к экзаменам по физике и математике. Поскольку переборка была тонкой и весьма звукопроницаемой, я оказывался невольным свидетелем этих почти ежевечерних занятий. Начинались они, как и полагается, с проверки «домашнего задания», которая длилась, однако, не дольше, чем минут пятнадцать. После этого раздавалось характерное звяканье и бульканье, после чего разговор, заметно оживляясь, обретал тематику, бесконечно далекую как от физики, так и от математики. Когда в Тикси, откуда Смилга вынужден был вылететь в Москву (поскольку его отпуск кончился и ему надо было срочно возвращаться на работу), место репетитора занял другой наш коллега – Саша Иоффе, кандидат физ. – мат. наук, в прошлом ученик Смилга, он был немало удивлен, что за месяц ежедневных занятий пройдено так мало.

Капитан наш, Малышев, любил учинять многочисленные учебные тревоги – особенно водяную и противопожарную. Тогда мне это казалось капитанской блажью, но теперь, по здравом размышлении, я полагаю, что он был прав. Смилга, согласно аварийному расписанию, состоял при нем вестовым. По его собственному утверждению, при сигнале тревоги он должен был птицей взлетать на капитанский мостик и «преданно смотреть капитану в глаза», что он исправно и делал. Почему-то однажды во время пожарной тревоги он оказался на корме, где был «условный пожар в районе фекальной цистерны» и куда, согласно расписанию, устремился я с топором в руках. Смилга утверждает, что, увидев мои «безумно выкаченные глаза» и топор в руках, он кинулся бежать от меня, уверенный, что я гонюсь за ним.

Наибольшую славу Смилге в экспедиции, однако, принес шахматный матч. Заняв безусловное первое место в корабельном шахматном турнире, он взялся на пари (в заклад были поставлены две пол-литры) играть одновременно партии на двух досках против наиболее сильных шахматистов – капитана и первого помощника. По условиям пари, проигравший должен был также влезть под стол в кают-компанию, лаять по-собачьи и громко кричать: «Прости, дяденька, я дурак, больше не буду!» Главной особенностью этого необычного турнира было то, что Смилга должен был играть, не глядя на обе шахматные доски, сидя к ним спиной, да еще и с завязанными глазами. Смотреть на этот уникальный турнир собрались все участники экспедиции. Противники Вольдемара Петровича поначалу были почти уверены в своей победе. Однако, к всеобщему удивлению, медленно, но верно, держа в уме расположение фигур на двух досках сразу, Смилга прижимал и того, и другого.

Сначала сдался первый помощник. Капитан еще какое-то время безуспешно пытался свести дело к ничьей, но Смилга, развязавшийся со второй доской, неумолимо принудил и его к сдаче в безнадежном положении. Выполняя суровые условия поединка, капитан безропотно влез под стол и кричал, что положено. Перпом же, выставив проигранную водку, лезть под стол отказывался, ссылаясь на то, что он подорвет этим свой партийный авторитет. «Лезь, сука, – заорал, побагровев, уже побывавший под столом капитан, – утоплю!» Пришлось и первому помощнику карабкаться на четвереньках под стол и лаять по-собачьи.

Провожая нас в полярную экспедицию, друзья и приятели наказывали нас привезти в качестве сувенира одну весьма своеобразную костяную часть тела моржа, которую, как они были уверены, легко можно было обменять на любом стойбище на водку. Нигде, однако, куда бы мы ни заходили, сделать нам этого не удавалось. Помню, как раз в проливе Вилькицкого, во время очередной ледовой проводки, когда мы все стояли, расписанные по водяной тревоге, радист принес мне такую радиограмму от моего приятеля Олега Николаева из Геленджика: «Привет вам Арктике суровой мечтаю получить моржовый». Замерзший и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему ответ: «Пока что нам не до моржа, живем, за собственный дрожь».

Больше всего расстраивался отсутствием моржовых сувениров Смилга, пообещавший непременно привезти хотя бы один такой экспонат в свой Курчатовский институт. Уже на рейде, неподалеку от Тикси, где мы должны были его высаживать, в самый разгар прощальной вечеринки, вышедший на палубу Смилга вдруг заметил какого-то любопытного моржа, высунувшего свою усатую морду неподалеку от судна. Вольдемар Петрович немедленно кинулся в каюту, схватил пол-литру и выбежал на палубу. Находясь, по-видимому, в состоянии некоторого аффекта, он начал, размахивая руками и показывая бутылку моржу, предлагать ему взаимовыгодный обмен. Заинтересованный морж подплыл уже почти к самому борту. Но тут из морских глубин неожиданно вынырнула его разгневанная подруга. Дав супругу мощный подзатыльник, она решительно увлекла его за собой в глубину, негодуя фыркнув напоследок в сторону Смилги.

Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку «На восток», которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна «Морской-10», он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: «А птицы все на юг, а люди все на юг – мы одни лишь на восток». По уверениям его жены, как только он начинал петь «про птиц», следовало срочно забирать его из-за стола.

Словно вороны, чайки каркают
На пороге злой зимы.
За Печорю – море Карское,
После – устье Колымы.
Мне бы кружечку в руки пенную
Да тараньки тонкий бок...
А птицы все – на юг, а люди все – на юг,
А мы одни лишь – на восток.

Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Натальи. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабзавод и рыбзавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, сплошь состоящее из женщин, радостно при-

ветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции: «Во изменение первого приказа в бухту Натальи не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать». Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Натальи.

В распадах крутых непротаявший лед —
Зимы отпечатки.
Над бухтой Наталии рыбозавод
У края Камчатки.
Как рыбы, плывут косяки облаков,
Над бухтой клубятся.
Четыреста женщин – и нет мужиков,
Откуда им взяться?

Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане «Вулкан», когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше «река-море» никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать «носом на волну» и ждать своей участи. Ко мне пришел Володя Гринберг, держа в руках заветную поллитровку: «Вот, для дня рождения берег, да боюсь, что не придется. Давай сейчас разопьем, а то жалко, если пропадет».

В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с заводом в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили наконец двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня после этого повесть Георгия Владимова «Три минуты молчания», где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.

По возвращении в Москву осенью 72-го мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам в Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран – членов СЭВ. Мне было поручено встречать и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке – высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом.

Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса «Анна унд Марта баден». Тем не менее, по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться.

Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо «для кайфа» на потом. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: «Варум?» На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы и что поэтому мясо для меня на всю жизнь – деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские слова: «Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр руссише – земляки». «Потому что, – продолжил он уже на русском языке, – я как раз есть воевал ленинградский фронт!»

Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце 71-го года в Ленинграде, в издательстве «Лениздат», вышла вторая книжка моих стихов, «Новая Голландия», во многом благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале 72-го года я сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей.

Помню, как давший мне рекомендацию известный ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: «Саша, у вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять». – «Почему?» – удивился я. «Ну, как же – рекомендации трех евреев». – «Почему трех?» – «Всех трех, – продолжал Шефнер, – Слуцкий, Самойлов и я». – «Но ведь вы же – не еврей!» – «Да, да, конечно, – я швед. Но кто это знает? Фамилия-то – Шефнер». Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой. Дед Вадима Сергеевича – Алексей Карлович Шефнер, командуя транспортом «Манджур», стал участником основания Владивостока. В 1860 году с этого транспорта в бухте Золотой Рог был высажен отряд солдат во главе с прапорщиком Комаровым, основавший порт. Имя Шефнера носит северный входной мыс в бухту Находка. Сам Вадим Сергеевич еще в 1967 году, когда в Ленинграде вышла первая книжечка моих стихов и песен «Атланты», написал о ней весьма сочувственную заметку в «Ленинградской правде», чем немало поддержал меня.

В Союз писателей меня все-таки приняли осенью 72-го года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае, если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации я иметь не буду. «Мы вас сюда не звали и жилье вам давать не обязаны», – заявил он.

ЦДЛ. Сложный круг воспоминаний связывает меня с этой короткой трехбуквенной аббревиатурой, практически никогда не требовавшей расшифровки и разворота в несклепистое и мало понятное название «Центральный дом литераторов». Каких литераторов? Оказывается, только тех, кто мог предъявить при входе членский билет Союза писателей СССР, ярко-красную (чтобы не усомнились в партийной принадлежности) книжицу с золотым орденom Ленина, напоминающую «гэбэшное» удостоверение. Значит, и не литераторов это дом, а только тех, кто «в законе» – членов ССП. Совсем другое дело ЦДЛ – символ бурной и таинственной литературной жизни 60-х годов, подлинный ее центр, манивший нас, провинциальных питерских юнцов, своей недоступностью.

Помню отчетливо, хотя прошло немало лет, как был потрясен я, робкий неофит, обманым путем с большими сложностями проведенный в первый раз в шумное, витающее в густых облаках табачного дыма, кафе с цветными стенами, исписанными многочисленными шаржами и автографами литературных знаменитостей. Какими небожителями казались мне вальяжно

сидевшие за столиками этой современной «Бродячей собаки» ее законные обитатели, как жадно вдыхал я губительный и нетрезвый воздух «истинной поэзии». Тщеславное сознание своей пусть случайной и недолгой причастности к этому недоступному для простых смертных храму литературы кружило голову и застилало глаза, перед которыми на низкой сводчатой стене чернела надпись: «Здесь однажды ел тушенку и увидел Евтушенку».

И как не закужаться голове? Живые (тогда еще живые) классики, известные до этого только по портретам, сидели совсем рядом и под звон рюмок обсуждали свои таинственные литературные дела. В те годы первый этаж цэдээла, духовным центром которого оставались кафе и ресторан, на самом деле был постоянно действующим литературным клубом. Его завсегдатаи как бы поселились здесь на многие годы, сбежав от семейных неурядиц и домашнего неустройства. Здесь обсуждали стихи и прозу, заключали и расторгали договора, сколачивали и развивали коалиции, женились и разводились.

Многие знаменитые, но, как правило, безденежные посетители, такие, например, как Светлов или Самойлов, пользовались в ресторане неограниченным питейным кредитом. За столики садились только «к своим», не смешиваясь с «чужими». Это разделение по столикам и компаниям задолго до нынешних баталий заложило основы неизбежного раскола писательского союза.

А сколько доносов было рождено здесь из пьяной откровенности подвыпивших собеседников и собственных проницательных домыслов! Никак не меньше, чем стихов или рассказов. Поговаривали, что многие столики в ресторане оборудованы подслушивающими устройствами, однако я в этом сомневаюсь – гораздо дешевле и эффективней было использовать обширный штат литературных стукачей, буквально наводнявших эти стены. Если опубликовать подробности многолетней работы тайной службы ЦДЛ, это могло бы стать основой целой серии остросюжетных детективов.

На фоне бесшабашной с виду и драматичной по существу цэдээловской жизни возникали и ломались чьи-то литературные и не только литературные судьбы. Достаточно вспомнить трагическую гибель талантливого поэта Юрия Смирнова, выброшенного за двери как якобы пьяного во время сердечного приступа и замерзшего на решетке запертого выхода на улице Воровского.

С цэдээловским рестораном связано немало баек и легенд, в том числе и смешных. Ныне покойный писатель Борис Ласкин рассказывал мне, как в начале 80-х он зашел днем в ресторан пообедать. Народу было немного, но в углу за большим столом гуляла какая-то компания, оглашая высокие резные стены зала весьма затейливой неформальной лексикой (как выяснилось позднее, друзья провожали за рубеж Юза Алешковского). Некоторое время Ласкин пытался не обращать на них внимания, но, когда лексика стала уж слишком неформальной и громкой, позвал метрдотеля и сказал: «Послушайте, что происходит? Я, писатель Ласкин, пришел в свой клуб отдохнуть и пообедать после напряженной творческой работы. Я устал, почему я должен терпеть этот пьяный мат?» Мэтр подошел к разгулявшейся компании и пытался их урезонить. Как только он удалился, из-за веселого стола выскочил Юз Алешковский и нетвердыми мелкими шажками засеменил к столику Ласкина. Подойдя к нему вплотную, он оказался ростом ниже, чем сидящий гигант Ласкин, служивший когда-то в кавалерии. Это, однако, Алешковского нисколько не смутило. Он долго, засунув руки в карманы, раскачивался, глядя на Ласкина белыми от презрения глазами, и наконец произнес с издевкой: «И что это ты такое написал, что ты так устал?»

Что касается второго этажа с его зрительным залом, то он связан для меня прежде всего с поэтическими выступлениями Тарковского, Окуджавы, но более всего с авторскими вечерами любимого мною Давида Самойлова, на которые собиралась, кажется, вся Москва. Его неповторимый глуховатый, но иногда неожиданно звонкий голос, по-пушкински прозрачные строки, насыщенные музыкальной гармонией, создавали удивительное силовое поле, заволаживающее

слушателей. Каждый его вечер в ЦДЛ превращался в настоящий поэтический праздник, столь редкий в этом зале, помнившем и всеобщее верноподданное поношение Пастернака, и погромные речи Асташвили.

Нынче такие праздники стали редкостью. Понемногу сходит на нет и шумный литературный клуб в ресторане и кафе, – «иных уж нет, а те далече». Теперь под сводами соллогубовского дворца и в новом здании, выходящем на улицу Герцена, гуляют преуспевающие дельцы из «новых русских», рэкетеры и гости из южных республик, занятых братоубийственной войной дома и рыночной колонизацией Москвы. Вечера поэзии, ранее собиравшие большие аудитории, нынче оттеснены в малый зал, в то время как большой отдан на откуп под коммерческие мероприятия. Писатели стали чужими в своем бывшем доме. Куда понесут дальше утлый каменный кораблик бурные шторма нашего времени? Останется ли он Центральным домом литераторов? Бог весть.

Тогда, в начале 70-х, мы с женой пристрастились постоянно ходить на вечера в мемориальный Музей А. С. Пушкина на Кропоткинской улице и в мемориальный Музей А. И. Герцена на Сивцевом Вражке, благо оба эти музея были недалеко от нашего дома. В те годы Музеем А. С. Пушкина на Кропоткинской руководил Александр Зиновьевич Крейн. Вместе со своим заместителем – Анной Соломоновной Фрумкиной он организовал регулярный цикл литературных вечеров и научных чтений, так или иначе связанных с пушкинской тематикой. Здесь выступали с докладами Н. Эйдельман, В. Непомнящий, В. Вацура и другие ведущие пушкинисты. Читали Пушкина многочисленные актеры – Дмитрий Журавлев, Яков Смоленский, Александр Кутепов, Михаил Козаков, Василий Лановой, Антонина Кузнецова и другие. Устраивались также музыкальные вечера и авторские вечера Давида Самойлова и других поэтов. Небольшой зал в ветхом старом московском особняке, рассчитанный человек на сто – не более, как правило, набивался битком, что вызывало постоянную тревогу А. З. Крейна и пожарных. За годы здесь сложилась своя постоянная аудитория. На стене маленького зрительного зала, амфитеатром спускавшегося к крошечной сцене, висел большой автопортрет юного Пушкина, нарисованный пером, который освещался прожекторным лучом. Казалось, что светлый образ юного гения постоянно витает над сидящими в зале.

Не успел я переехать в Москву, как в Ленинграде тут же выкинули из планов издательства мою третью книжку. «Вы теперь москвич – вот там и печатайтесь». В Москве меня, однако, никто печатать не собирался. Единственным журналом, взявшим у меня стихи, оказался научно-популярный журнал «Химия и жизнь», бывший в те годы одним из наиболее либеральных и независимых изданий. Молодой и дружный коллектив его редакторов и сотрудников ухитрился превратить его в один из самых «читаемых» и популярных журналов в плане не только научном, но и литературном, за что позднее поплатился. Несмотря на гонения, в самые черные брежневские времена Владимир Станцо, ставший впоследствии главным редактором журнала и рано ушедший из жизни, Вера Черникова и другие сотрудники сделали этот журнал настоящим оплотом авторской песни. Они упорно печатали подборки стихов и песен молодых авторов, организовывали их выступления у себя в редакции и во время поездок по стране.

Хождение по другим редакциям в ту пору не принесло мне ничего, кроме унижений и гадкого чувства устойчивого отвращения к себе и своим жалким стихам. Лучом света в этом темном царстве оказалась хорошенькая девушка, работавшая тогда в отделе поэзии журнала «Знамя», взявшая у меня пару стихотворений, написанных в арктическом перегонном рейсе, – еще мало в то время известная Наталья Иванова.

Кстати сказать, за несколько лет до этого я уже побывал в этой редакции в маленьком доме на Тверском бульваре, рядом со знаменитым булгаковским «Массолитом», где ныне помещается Литинститут. Тогдашний заведом, хмурый человек с острым остеническим подбородком, похожий на волка, внимательно и неприязненно оглядев меня с ног до головы,

достал из стола рукопись моих стихов и песен и с неожиданным раздражением, брезгливо двумя пальцами потряхивая страницы, начал агрессивно кричать о графоманах, лезущих в русскую литературу со своими пошлыми песенками. От крика этого я растерялся и, несмотря на пиетет к журналу и его редактору, выхватил, не дослушав, рукопись и, хлопнув дверью, ушел. «Ты что делаешь?» – догнал меня заходивший со мной вместе мой тогдашний приятель Сергей Артамонов. «Да пошел он... – отмахнулся я. – А что это за тип?» – «Ну как же, – с уважением объяснил Артамонов, – это один из учеников Слуцкого, Станислав Куняев».

Только через полгода после переезда в Москву, когда мои друзья, актеры театра «Современник» Людмила Иванова и Валентин Никулин, познакомили меня с редактором отдела поэзии издательства «Советский писатель» Виктором Сергеевичем Фогельсоном, с именем которого были связаны издания таких поэтов, как Слуцкий, Самойлов и другие, мне удалось отдать в редакцию «Советского писателя» рукопись новой книги. Ей, однако, суждено было пролежать там двенадцать лет. Сам Фогельсон, денно и нощно занятый работой и отягощенный многочисленными рукописями, относился ко мне хотя и снисходительно, но безо всякого энтузиазма. «Может быть, мне пойти на прием к заведующему редакцией?» – робко спрашивал я у него. «К Егору-то? Ни в коем случае, – решительно обрывал он меня. – Во-первых, он Окуджаву терпеть не может, а ты тоже песни пишешь. А во-вторых, он только нос твой увидит и вообще тебя никогда печатать не будет».

Каждый год в течение своей жизни в Москве я как член московской писательской организации регулярно получал письменное приглашение сдать стихи в «День поэзии» и исправно, каждый год, отвозил их, как было указано, секретарю объединения поэтов, наивно надеясь хоть раз увидеть их напечатанными. Простодушные надежды эти оказались напрасными. Позднее умные люди объяснили мне, что посылать или отдавать стихи «просто так» – бесполезно. Надо давать их в руки «своим людям» в редколлегии с твердым наказом следить на всех этапах прохождения, чтобы не выкинули. Уровень стихов при этом роли не играет. Несколько избалованный отсталой ленинградской этикой и «художественным цензом», я был изрядно обескуражен этим открытием. Подборки моих стихов в то время по старой памяти продолжали печатать только ленинградские журналы.

Уже в конце 70-х годов, когда моя рукопись давно и безнадежно пылилась в одном из шкафов на третьем этаже издательства «Советский писатель», где помещался отдел русской советской поэзии, кто-то из доброжелателей посоветовал мне отнести новую рукопись стихов в издательство «Современник». Заведующий отделом поэзии, на стол которого я положил папку с рукописью, даже не раскрыл ее. «У вас, – заявил он, – мы стихи для публикаций брать не будем». – «Не имеете права, – возмутился я, – я член Союза». – «Оставляйте, дело ваше, – сказал он скучным голосом. – Все равно толку не будет». Он был прав. Дав рукописи отлежаться положенное время, он позвонил одному из московских поэтов, известному в те поры своими антисемитскими высказываниями. «Саша, – сказал он, – тут надо одного еврея завалить. Нужна крепкая отрицательная рецензия. Возьмешься?» – «Возьмусь, пожалуй, – ответил тот. – А как фамилия?» Услышав фамилию, Саша писать требуемую рецензию все-таки отказался. Не потому, однако, что питал повышенное уважение к моей писанине, а скорее убоившись, что это станет известно в кругу общих знакомых.

Редактора это нисколько не смутило. Дав рукописи полежать еще, он без труда нашел другого желающего. Интересуясь судьбой своей рукописи и ничего в те поры не зная об активной работе редактора, я попросил было знакомого поэта, написавшего положительную внутреннюю рецензию на рукопись моей книжки в издательстве «Советский писатель», узнать, как обстоят мои дела в «Современнике», и по возможности помочь, взяв стихи на рецензию. «А ты какую рецензию писать собираешься? – ухмыльнулся редактор. – Положительную? Нет, нам это не подойдет».

Наконец, уже в январе 1984 года я получил очень вежливое письмо на бланке издательства «Современник»:

«Уважаемый Александр Моисеевич!

Редакция русской советской поэзии направила рукопись Ваших стихов «След в океане» рецензенту издательства члену СП СССР А. Николаеву.

В редакции внимательно познакомились со стихами, содержащимися в рукописи, и в целом согласились с рецензентом: к сожалению, многие произведения не выдерживают издательского конкурса. Критерии «Современника», предъявляемые им к издающимся книгам, весьма жестки, они еще более возросли после постановлений Ноябрьского и Июньского пленумов ЦК КПСС.

Возвращаем Вам Вашу рукопись «След в океане» с рецензией А. Николаева и редакторским заключением.

С уважением, заведующий редакцией русской советской поэзии Л. Дубаев».

Именно в 70-е годы, практически лишенный возможности печатать свои стихи и песни, испытывая острую необходимость в постоянном контакте с аудиторией, я начал чаще выступать с песнями и стихами. Здесь, в связи с переездом в Москву, тоже возникли некоторые проблемы.

Не научившись смолodu играть на гитаре, я все годы постоянно испытывал трудности с аккомпанементом. В Ленинграде в последние годы мне довольно успешно аккомпанировал мой давний друг – исполнитель авторских песен Михаил Кане. В Москве же я оказался без аккомпаниатора. Правда, на самых ответственных концертах мне время от времени помогал своей великолепной гитарой Сергей Никитин, но ведь у него свои выступления! Первые годы после переезда в Москву мне приходилось перебиваться случайной помощью самых разных гитаристов. Одна дама в Питере в то время неодобрительно сказала в мой адрес: «Известно, что в каждом городе Советского Союза у Городницкого по бабе и по аккомпаниатору».

В 1977 году на весеннем слете московского КСП я познакомился с одаренным музыкантом и исполнителем Михаилом Столяром, с которым мне довелось выступать немало лет. Он не только превосходно владел гитарой, но и давал примитивным и часто банальным мелодиям моих песен неожиданную и подчас виртуозную музыкальную аранжировку. Некоторые музыкальные разработки аккомпанемента, сделанные им для таких песен, как, например, «Меж Москвой и Ленинградом», «В городе Понта-Дельгада», «Романс Чарноты» или «Воздухоплавательный Парк», как мне кажется, представляют интерес сами по себе. В последние годы мне помогает своей гитарой Александр Костромин. Стоя рядом с ним на сцене, я всегда чувствую себя защищенным, несмотря на полное отсутствие у меня вокальных данных.

В начале 70-х годов меня как-то пригласили выступить в Московский педагогический институт им. Крупской. Аудитория сплошь состояла из девиц, весьма, кстати, привлекательных. Роскошного вида ведущая вышла на сцену и торжественно объявила: «Дорогие друзья, у нас в гостях поэт Городецкий». Раздались жидкие хлопki. Что мне было делать? Выйдя на сцену, я сказал: «К сожалению, я должен вас расстроить, – поэт Городецкий умер. Давайте почтим его память вставанием». Все огорченно поднялись со своих мест, полагая, что вечер отменяется. «Садитесь, пожалуйста, – продолжил я. – Дело в том, что умер он, прожив восемьдесят три года, уже стариком. Был одним из организаторов знаменитого «Цеха поэтов» в начале века, известным акмеистом, современником Блока и Гумилева. А моя фамилия – Городницкий, и я жив». Обрадованная аудитория долго хлопала, и вечер вошел в колею.

В те годы в официальном песенном искусстве безраздельно властвовали пахмутовы, гребенниковы и добронравовы. Про Александру Пахмутову, которая была невелика ростом, рассказывали, что на одном из правительственных банкетов, сидя за высоким столом, она подняла бокал и заявила: «Предлагаю выпить за нашу славную коммунистическую партию! А за партию надо пить стоя». И вдруг исчезла под столом. Оказалось, что она просто встала на ноги.

Большого труда стоило мне, особенно в первый год после переезда, притерпеться к самой Москве после, как оказалось, такого тихого и провинциального Ленинграда. Жили мы в узкой комнатухе, в коммуналке, на седьмом этаже старого дома на улице Вахтангова, где помещалось Щукинское театральное училище, выходившего торцом на шумный Калининский проспект – «вставную челюсть Москвы». Шумный, многолюдный, вечно грохочущий город, в самой середине которого я неожиданно оказался, неотступно тяготил своим постоянным присутствием. Раздражало поначалу решительно все – горбатые и кривые улочки с разношерстными домами, выводящие путника неизвестно куда, и почему-то бегущая сломя голову толпа на улицах, и московский неряшливый говор с мягким «г», и сами хамоватые и шумные москвичи, так непохожие на вежливых и немногословных ленинградцев.

После просторной Невы, Финского залива и многочисленных ленинградских каналов казалось совершенно противоестественным, как такой гигантский город может жить без воды – с одной только грязной и узкой Москвой-рекой. Особенно остро это ощущалось в невыносимо жаркие летние дни, когда в центре города нечем было дышать от бензиновой гари и приходилось искать спасения в жалких, заросших тиной переделкинских прудах или грязных речушках, где воды по пояс. Дело было, однако, не только в этом. К моему удивлению, сам темп работы и жизни в Москве оказался гораздо интенсивнее, нежели в Ленинграде. Немалого труда стоило приспособиться к этому. Ностальгическая печаль грызла меня, почти не отпуская. Не реже раза в месяц я старался под тем или иным предлогом попасть в Ленинград, где уже на перроне Московского вокзала жадно хватал ртом его сырой и дымный канцерогенный воздух. Поистине, «и дым Отечества нам сладок и приятен».

Время, однако, шло, и постепенно, приезжая в родной Питер, я понемногу начинал замечать то, чего раньше, взглядом изнутри, мне видно не было. Мои земляки-ленинградцы оказались в массе беднее одеты, выглядели хмурыми и замученными, стройные улицы и гранитные набережные – донельзя забитыми грязью и мусором. Любимые с детства гордые фасады дворцов с их осыпавшейся штукатуркой и потрескавшейся старой краской напоминали прохудившуюся одежду промотавшегося дворянина.

Пожалуй, ни в одном другом городе Союза не встречал я таких по-нищенски жалких новостроек, как в Купчино или на Гражданке. С болью признавался себе, что «губернаторская власть – хуже царской». Почти все – наука, литература – за редким лишь исключением, театры – все ветшало, становилось второсортным, обрастало трудно смываемым налетом российской провинциальности. Оставалась, пожалуй, незабываемой одна великая архитектура, одухотворенная великим прошлым.

В эти годы трудного привыкания к Москве, когда не слишком ладились дела на работе, не писались и не печатались стихи, единственной отдушиной, помогавшей жить, были наши друзья и знакомые. В дом наш, находившийся неподалеку от Центрального дома литераторов, да и вообще в самом центре Москвы, почти каждый вечер забредали какие-нибудь гости, не оставляя ни времени, ни места для печальных размышлений. «Макромир – ужасен, но микромир – прекрасен», – как любил говаривать Натан Эйдельман.

В тесной нашей комнатухе пересекались три круга приятельского общения. К первому относились друзья и знакомые, объединенные домом поэта Давида Самойлова в Опалихе – от Фазиля Искандера, бывшего вместе с Самойловым свидетелями при моей второй женитьбе, и Лидии и Эдуарда Графовых до Володи Лукина, нынешнего уполномоченного по правам человека. Второй круг состоял в основном из питомцев 110-й школы, друзей и однокашников Игоря Белоусова. Больше всего мы подружились с тремя его близкими друзьями – уже упомянутыми Валей Смилгой, Натаном Эйдельманом и Юлием Крелиным. Третий круг, пересекавшийся с первым и вторым, формировался из «поющих» приятелей – Виктора Берковского, Сергея и Татьяны Никитиных, Юры Визбора и других бардов.

При этом был еще четвертый круг, связанный с домом писательницы Лидии Борисовны Либединской. Мое знакомство и последующая многолетняя дружба с Лидией Борисовной Либединской начались в далеком 1963 году. С квартирой Либединской в старом писательском доме на Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи и с ее дачей в Переделкине связаны для меня воспоминания о многих незаурядных людях, бывавших там. В ее гостеприимном доме перебивало, перегостевало не одно поколение замечательных писателей, поэтов, художников и артистов – от Михаила Светлова, Даниила Гранина и художника Иосифа Игина, оставившего замечательную галерею портретов-шаржей, прежде всего своего друга – Светлова, до Александра Иванова и чтецов Александра Кутепова и Якова Смоленского. Не рискую писать об этом подробно, поскольку сама Лидия Борисовна гораздо лучше меня написала о своих гостях в книге «Зеленая лампа» и других книгах. Замечу только, что сама она многие годы обладала удивительным талантом притяжения к себе самых разных незаурядных людей, собиравшихся за ее столом. Не случайно у нее в доме хранится скатерть с автографами, отразившими целую эпоху нашей литературы.

Традиционные застолья в этом доме, приуроченные к Новому году, Пасхе и другим праздникам, всегда носили торжественный, почти ритуальный характер. Хозяйка неизменно величественно сидела во главе стола, места за которым, по степени близости к ней, распределялись не менее строго, чем в боярской думе. Дом этот многие годы был не просто литературным салоном, а центральным культурным московским клубом. Наряду со взрослыми, регулярно устраивались и шумные детские праздники с кукольными спектаклями, фантами и обязательными подарками.

Сама Лидия Борисовна, приходящаяся внучатой племянницей Льву Николаевичу Толстому, вместе с безусловным литературным талантом и голубой дворянской кровью унаследовала еще и решительный нордический характер, который время от времени проявлялся в самых разных ситуациях. Однажды она побила сумочкой милицейского чина, пытавшегося не пустить ее на Новодевичье кладбище, где похоронен ее муж – классик советской литературы Юрий Николаевич Либединский. Скандал с трудом удалось замять благодаря активному вмешательству одного из секретарей Союза писателей, генерала КГБ Ильина, благоволившего к Лидии Борисовне.

В другой раз в ресторане ЦДЛ в обеденное время к ней подошел упомянутый выше Станислав Куняев, ставший к тому времени одним из признанных лидеров литературной «черной сотни» и главным редактором журнала «Наш современник». «Лидия Борисовна, – обратился он к ней, – нам бы надо с вами обязательно поговорить. Мы должны быть вместе, – ведь у вас такие предки!» По свидетельству очевидцев, Либединская, не поворачиваясь к нему и не отрываясь от супа, сказала: «Не о чем нам с вами говорить. Мои предки таких, как вы, на конюшне пороли».

Стойкость и нестигаемость ее характера в полной мере проявились в драматическом для семьи 1979 году, когда по заведомо сфабрикованному в КГБ «уголовному» делу посадили мужа Таты замечательного поэта Игоря Губермана. Я ездил с ней вместе на судебный процесс в подмосковный Дмитров и хорошо помню, с каким спокойствием и достоинством она держалась, поддерживая измотанного следствием исхудавшего Игоря и подавая наглядный пример всем членам своей многочисленной семьи. Пожалуй, единственный раз выражение ее лица показалось растерянным, когда она пришла в фотоателье сниматься для поездки за рубеж. Фотограф сказал ей: «Слушайте, почему у вас такое испуганное выражение лица? Вы ведь едете туда, а не оттуда».

Позднее мне довелось прогуливаться вместе с Лидией Борисовной по старым кварталам Иерусалима, где она подолгу гостила у своих дочерей и внуков, главным образом в доме Игоря и Таты, и я видел, как окружали ее кидавшиеся к ней наперебой арабские торговцы, сразу

распознававшие в ней серьезного клиента. «Теща перемещается по Иерусалиму со средней скоростью пятьдесят шекелей в час», – шутил Игорь.

Из многочисленных гостей Лидии Борисовны запомнилась мне Людмила, «Людочка» Давидович, ровесница века, рассказавшая когда-то забавную историю, как ее и других гимназисток в конце октября семнадцатого года юнкера пригласили на осенний танцевальный бал в Зимний дворец. В самый разгар бала за окнами вдруг началась пальба. Дежурный офицер, извинившись перед девушками, объяснил, что танцы временно прекращаются, и проводил их в какую-то комнату, успокоив, что все скоро кончится и он за ними вернется. В этой дворцовой комнате они просидели всю ночь. Только под утро распахнулась дверь, и в комнату ворвались матросы, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами. Гимназисток они не тронули, более того, даже выделили двух красногвардейцев, которые проводили их по домам, поскольку время было беспокойное. Когда Людочка подошла к воротам своего дома, то увидела мамашу, стоявшую у ворот с бледным лицом в окружении сочувствующих соседей. «Людочка, что случилось? – негодуя спросила мать. – Ты, девочка из порядочной семьи, не ночевала дома!» – «Мама, революция», – ответила Людочка, на что мать строго отрезала: «Чтобы это было в последний раз!»

Прошли десятилетия. За знаменитым столом Лидии Борисовны сменилось уже несколько поколений известнейших писателей, художников и артистов. Михаил Светлов, Александр Фадеев, Маргарита Алигер, Дмитрий Журавлев, Анатолий Рыбаков, Даниил Гранин, Давид Самойлов, Александр Иванов, Зиновий Паперный, Елена Николаевская, Натан Эйдельман, Евгений Рейн, Борис Жутовский, Рафаэль Клейнер. Стол, однако, все тот же, – поражающий своей щедростью и незыблемостью, а главное – неизменной энергией и обаянием хозяйки, семейный клан которой, включая внуков и правнуков, насчитывает более 40 человек. Сама же Лидия Борисовна оставалась на вид все такой же молодой и красивой, как на юной фотографии, с задорно вздернутым носиком, украшающей обложку нового издания «Зеленой лампы».

Таким же литературным центром на долгие года стала и дача Лидии Борисовны в Переделкине. Помню, Анатолий Рыбаков впервые читал там отрывки из глав еще не завершенных «Детей Арбата». Там читали свои стихи Давид Самойлов, Александр Межиров и многие другие поэты. В конце 60-х годов, когда я, еще живя в Ленинграде, приезжал в Москву в командировки, мне нередко предоставлялось убежище на этой даче. Особенно запомнилась мне ранняя весна в еще по-зимнему пустом Переделкине в 1969 году. Тогда художник Иосиф Игин готовил к изданию книгу рисунков «Улыбка Светлова», и вся дача была завешана шаржами на Светлова.

Позабудьте свои городские привычки, —
В шуме улиц капель не слышна.
Отложите дела – и скорей к электричке:
В Переделкино входит весна.
Там зеленые воды в канавах проснулись,
Снег последний к оврагам приник.
На фанерных дощечках названия улиц —
Как заглавия давние книг.
Здесь, тропинкой бредя, задеваешь щекою
Паутины беззвучную нить.
И лежит Пастернак над закатным покоем,
И веселая церковь звонит.
А в безлюдных садах и на улицах мглистых
Над дыханием влажной земли
Молча жгут сторожа прошлогодние листья —

Миновавшей весны корабли.
И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка
Непонятные горькие сны,
Заскрипит в темноте под ногами ступенька,
И Светлов подмигнет со стены.
И поверить нельзя невозможности Бога
В ранний час, когда верба красна.
И на заячьих лапках, как в сердце – тревога,
В Переделкино входит весна.

Много сил и внимания отдавала Лидия Борисовна пропаганде русской литературы, постоянно участвуя в писательских поездках по Союзу от Калининграда до Владивостока, безотказно выступая в Домах культуры и библиотеках. Без нее не мог обойтись ни один пушкинский праздник в Болдине или Михайловском, толстовский в Ясной Поляне и блоковский в Шахматово. Она была самой желанной ведущей на литературных вечерах в ЦДЛ, Пушкинском музее и в ЦДРИ. Ее появление на сцене в роли ведущей было своеобразной гарантией высокого литературного уровня проводимого мероприятия.

Ушла она из жизни неожиданно и легко, смертью праведницы, – легла с книгой в руках и не проснулась. С ее уходом осиротел не только ее знаменитый дом, но и вся литературная Москва, порвалась связь между поколениями. Зияющая пустота возникла не только в современной, но и в классической русской литературе, полномочным и чрезвычайным послом которой она была в наше сложное время.

Одна из дочерей Либединской, Тата, была давней подругой и однокашницей моей жены Анны. Еще в конце 60-х годов мы познакомили Тату с нашим московским приятелем, уже упомянутым Игорем Губерманом, за которого она вскоре вышла замуж. Знакомство это, насколько помню, состоялось во время совместной поездки для купания на Канал имени Москвы, где Игорь на глазах Таты самоотверженно кидался в воду со всех бетонных конструкций на берегу, нисколько не стесняясь своего купального костюма, преобразованного с помощью английских булавок в плавки из обычных трусов. Об Игоре, ставшем теперь известным поэтом, надо рассказать отдельно.

Впервые я встретился с Игорем Губерманом осенью 62-го года в квартире общих знакомых, в огромном доме на Большой Бронной улице, где жила со своим мужем переводчица Галя Андреева, наша давняя приятельница. Некрасивое на первый взгляд лицо Игоря, с крупным изогнутым носом и ярко выраженными семитскими чертами, уже через полчаса общения с его обладателем казалось обаятельным и прекрасным. Завораживающие, постоянно чему-то смеющиеся глаза, не признающая никаких преград контактность и шутливый, независимо от степени серьезности или даже трагизма темы, стиль разговора сразу же подкупали любого собеседника. О собеседниках нечего и говорить. Однако более всего при первом же знакомстве поразили меня стихи Игоря – короткие, ни на что не похожие, шуточные, как поначалу мне показалось, четверостишия или восьмистишия. Выяснилось, что некоторые из них я уже слышал раньше, но думал, что они «народные». Например, такие:

Из комсомольского актива
Ушел в пассив еще один —
В кармане для презерватива
Теперь ношу валокордин.

Так я впервые познакомился с его стихами...

Сам Игорь любит вспоминать о том, что свои знаменитые четверостишия он якобы начал писать всерьез в середине 60-х в Ленинграде, гостя в моем тогдашнем доме на проспекте Космонавтов. Семейство мое жило на даче. Игорь с утра до поздней ночи мотался по друзьям и знакомым, где часто оставался и на ночлег. Поэтому мы с ним переписывались короткими стихотворными записками. Уходя утром на работу, я, например, оставлял ему такое послание:

Подожди меня с работы.
В доме есть паштет и шпроты.
Весь коньяк не выпей сам, —
Я вернусь к восьми часам.

Вернувшись к указанному времени, я не застал Игоря, но в ответ на мою записку он оставил сразу четыре. Первая была подсунута под открытую мною для него банку шпрот:

Взмахнула смерть бесшумным взмахом крыл, —
Сальери шпроты Моцарту открыл.

Вторая обнаружилась под пустой банкой из-под паштета:

Милый Саша, тет-а-тет, —
На фига тебе паштет?

Третья была прижата к подоконнику опустошенной бутылкой коньяка:

Мне надоело в Ленинграде.
Хочу к жене, устал от б...
Хозяин, половой маньяк,
Задержав шторы, пьет коньяк.

Наконец, четвертая лежала на тахте:

Поваливши на лежанку,
Здесь еврей имел славянку.
Днем подобные славянки
Для арабов строят танки.

Стихи эти и шутки вполне соответствовали духу наших тогдашних развлечений. Весьма характерен в этом отношении диалог, который нередко цитировал Игорь, вспоминая те времена. Дело в том, что Губерман тогда собирал в Ленинграде материал для своей научно-популярной книги «Чудеса и трагедии черного ящика», в связи с чем постоянно навещал разных ученых, у некоторых из которых, ввиду своей уникальной контактности, нередко оставался ночевать после изрядного застолья. Наутро с одним из них, в состоянии клинического похмелья, состоялся якобы такой разговор. «Скажите, коллега, — обратился Игорь к хозяину, осторожно вглядываясь в его измученное лицо. — Что бы вы сейчас предпочли, — хорошую девочку или двести граммов водки?» — «Простите, коллега, — ответил хозяин. — Могу ли я быть с вами вполне откровенным?» — «Конечно», — вежливо улыбнулся Игорь. «Тогда хотя бы — сто пятьдесят».

Если же говорить серьезно, то поэзия Игоря Губермана — явление во многом уникальное. В его емких четверостишиях, которые он сам называет «дацзыбао», удивительным образом

сочетаются лаконизм японской танки, трагически-веселое Зазеркалье обериутов и афористичная сочность русской частушки.

Стихотворчество для него прежде всего игра, скоморошина, где под веселой, нарочито смеющейся личиной можно спрятать умное и горькое лицо. Традиция эта «горьким словом моим посмеюся», ставшая классической в отечественной прозе – от Гоголя до Зощенко и нашедшая яркое отображение в авторской песне 60-х годов – от Галича до Высоцкого и Кима, достаточно редко появлялась в поэзии со времен Козьмы Пруtkова и разгромленных Сталиным обериутов.

Далеко не каждый человек обладает чувством юмора. Стихи Губермана могут служить своеобразным тестом, разделяющим людей на две противоположные категории. Сам поэт так пишет об этом:

Из нас любой, пока не умер он,
Себя слагает по частям
Из интеллекта, секса, юмора
И отношения к властям.

Возможно, именно поэтому острые, легко запоминающиеся четверостишия практически не оставляют читателей или слушателей равнодушными – или их активно принимают, или так же активно не принимают. Помню, как более двадцати лет назад один из лучших наших поэтов, Давид Самойлов, бывший фронтовик и человек весьма смелый, выгнал Игоря со своего поэтического семинара, расценив прочитанные им стихи как провокацию. Этому немало способствовал присутствовавший на семинаре знаменитый диссидент и литератор Анатолий Якобсон, который, услышав первое же прочитанное Игорем четверостишие, закричал: «Давид Самойлович, гоните его в шею, – это провокатор!» Справедливости ради следует сказать, что именно Давид Самойлов прописал потом опального Игоря Губермана в своем доме в Пярну после его возвращения из заключения в начале 80-х годов.

Родившись в Москве в 1936 году и закончив технический вуз, Игорь Губерман сменил много профессий – от журналиста до «химика-электрика». Он автор нескольких научно-популярных книг, получивших известность в 70-е годы. Но, пожалуй, главным в его литературном творчестве были и остаются эти самые «дацзыбао», которые он с необычайной легкостью придумывал всегда и везде. Много лет он разбрасывал их вокруг себя, дарил близким и полужнакомым людям, совершенно не заботясь о дальнейшей судьбе и даже просто сохранности своих стихов и вряд ли видя в них предмет серьезной литературы. Эти короткие, смешные и едкие четверостишия, постоянно сопровождая автора в его нелегком жизненном пути и чем-то заменяя ему дневник, давали вполне реальную психологическую возможность не принимать всерьез окружающий уродливый социальный мир, где властвовали человеконенавистнические и откровенно лживые законы.

Шутовской колпак с бубенчиками, чей звон иногда оказывался погребальным, по самим условиям этой придуманной им игры, позволял выламываться из жестких рамок унылой и фальшивой действительности «страны развитого социализма».

У меня до сих пор лежит на полке его упомянутая выше научно-популярная книга «Чудеса и трагедии Черного ящика», сплошь исписанная от руки его четверостишиями. Такими, например:

Я государство вижу статуей —
Большой мужчина, полный властности.
Под фиговым листочком спрятан
Огромный орган безопасности.

или:

Вожди милее нам втройне,
Когда они уже в стене.

или:

За все на еврея найдется судья —
За живость, за ум, за сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то, что она промахнулась.

Игра эта, однако, оказалась далеко не безопасной. Не будучи нигде напечатаны, его стихи ходили в списках или в изустном переложении по всей нашей огромной стране в течение «застойных» лет – как своеобразное проявление современного фольклора. Мне, например, в 70-е годы неоднократно читали самые разные «дацзыбао» Игоря то в Киеве, то в Челябинске, то в Петропавловске-Камчатском. Острая и беспощадная политическая сатира его легко запоминающихся строк не могла не обратить на себя самое пристальное внимание «литературоведов в штатском». Не об этом ли написал он сам в своих насмешливо-трагических строчках?

От Павлика Морозова внучат
Повсюду народилось без него, —
Вокруг меня ровесники стучат —
Один на всех, и все на одного.

Характерной особенностью стихов Игоря Губермана, вызвавшей особенно резкую реакцию всех охранительных учреждений, явилось то, что в них впервые получило свой голос русское еврейство, еще с послевоенного времени и «дела врачей» обреченное на вынужденное молчание. Утвержденный еще Сталиным государственный антисемитизм, хотя, конечно, и ханжески отрицаемый властями, начало которому было положено печально известной борьбой с «космополитами», особо пышным цветом расцвел в годы брежневского правления. Если раньше били «космополитов», то теперь «сионистов», понимая под этими терминами, придуманными для «отмазки» от западной прессы, все тех же евреев. Именно эта многолетняя пропаганда, нагнетавшая истерию «борьбы с сионизмом», создала реальную базу для разнузданного параноического антисемитизма нынешних организаций типа «РНЕ» и их «литературных» вдохновителей. Не об этом ли писал Губерман в одном из своих пророческих четверостиший:

Дух старый, но свежеприлипчивый,
Когда воцарится везде,
То красный, сходя на коричневый,
Обяжет нас к желтой звезде.

или:

Царь-колокол не звонит поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети!
И ясно, что евреи виноваты, —
Осталось только летопись найти!

Еще в конце 60-х, наблюдая начало эмиграции евреев из страны, он с горечью написал:

Евреи продолжают разъезжаться
Под свист и улюлюканье народа,
И скоро вся семья цветущих наций
Останется семьей без уroda.

И все-таки при всем том стихи Игоря Губермана – явление прежде всего российской поэзии. В строках его, казалось бы, самых саркастических стихов без труда просматривается наивная неистребимая любовь к неласковой своей Родине, невозможность существования вне ее:

Живым дыханьем строки грей
И не гони в тираж халтуру:
Сегодня только тот еврей,
Кто теплит русскую культуру.

Принявший участие в диссидентском движении 70-х годов, Губерман, видимо, отчетливо сознавал, чем рискует. Не зря написал он в то время:

Когда страна – одна семья,
Все по любви живут и ладят.
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, когда тебя посадят.

Будучи человеком азартным и страстным, в силу своей неистребимой доброжелательности и контактности, чрезвычайно доверчивый к мало знакомым людям, еще и став, на свою беду, при этом собирателем икон, он быстро оказался жертвой сфабрикованного в 1979 году уголовного дела. На самом деле КГБ пытался, оказав давление на Губермана, получить от него показания на известного диссидента, ученого-математика, редактора подпольного журнала «Евреи в СССР» Виктора Браиловского, но Игорь, вопреки чаяниям обрабатывавших его гэбэшников, «не раскололся», за что и поплатился. Стараниями следствия, которое контролировалось КГБ, были найдены два отбывавших наказание уголовного, которые за обещание скостить срок показали, что якобы продавали Губерману заведомо краденые иконы. Я присутствовал на суде в подмосковном городе Дмитрове и видел, как героически вел себя Игорь. Исход суда был predetermined наперед. Игорь получил пять лет лагерей. Выходя из зала суда, он с улыбкой сказал своему расстроенному адвокату: «Спасибо. Вы меня почти убедили в моей невиновности».

И я сказал себе – держись,
Господь суров, но прав:
Нельзя прожить в России жизнь,
В тюрьме не побывав.

Именно в заключении проявились мужественность и стойкость характера Игоря Губермана, столь отличного от его улыбчивого веселого облика. В нечеловечески трудных условиях принудработ и карцеров он ухитрился написать десятки новых «дацзыбао» (хотя прекрасно

сознавал, что будет, если их обнаружат при «шмоне») и собрать материал для первой книги автобиографической прозы «Прогулки вокруг барака».

Вот что пишет по этому поводу сам автор в предисловии к одному из зарубежных изданий своих стихов: «Во время следствия, тянувшегося очень долго, ибо расследовать было заведомо нечего, я усердно писал стихи. То же самое делал я, странствуя по этапам из одной тюрьмы в другую, покуда, как замечательно сказано классиком, я приближался к месту своего назначения. Это доставляло мне удовольствие куда большее, чем занятие тем же самым на воле. Только вот хранить эти клочки бумаги было невероятно трудно. Гораздо труднее, чем исписывать. Кроме обязательного обыска при поступлении в каждую тюрьму, а часто и при выезде из них, были еще десятки обысков: плановых, по случаю, по подозрению, по доносу, просто приуроченных к празднику.

Почему именно 8 марта, 1 мая и 7 ноября заключенные особенно опасны, я понять и дознаться так и не сумел, но в праздники нас всех и камеры непременно обыскивали. К этому еще следует добавить обыски в вагонах на этапе. Тем не менее мне удалось сохранить и переправить большую часть написанного в тюрьмах и по дорогам между тюрьмами. Сохранить стихи эти мне хотелось не только из-за естественного для автора заблуждения относительно их качества, но и от яростного желания доказать, что никогда и никому не удастся довести человека до заданного состояния опущенности, безволия, апатии и покорного прозябания в дозволенных рамках. Очень многие, часто совсем неожиданные люди помогали мне, никогда не спрашивая, что они прячут».

Отбыв срок наказания и вернувшись в Москву в 1984 году, Игорь Губерман пытался вновь заняться литературным трудом, писал сценарии научно-популярных фильмов, начал работу над книгой прозы о семье художника Бруни. Въезд в Москву для него был воспрещен, и он жил в Малоярославце, на «сто первом километре», по поводу чего написал «шуточные» стихи:

За городом такая красота!
На воздухе я счастлив беспредельно:
Сбылась моя давнишняя мечта —
Любить свою семью и жить отдельно.

Длилось это, однако, недолго. Время от времени ему неизменно напоминали, что он «под колпаком». А через три года его вызвали и объявили, что Министерство внутренних дел приняло решение о его выезде. Вновь, уже в который раз, сработала тупая и неумолимая машина, выбрасывающая российских литераторов за рубеж.

Уже перед своим отъездом, с надеждой и тревогой всматриваясь в завтрашний день нашей страны, он писал:

Погода наша хорошеет,
Но мы с эпохой не в ладу —
Привычка жить с петлей на шее
Мешает жить с огнем в задку.

Наблюдая еще не оперившуюся, робкую, трудно рождающуюся нашу демократию, он посвятил ей напутственные слова:

Весело и отважно,
Зла сокрушая рать,
Рыцарю очень важно

Шпоры не обосрать.

И уже не вызывают никакой улыбки его предотъездные стихи:

Не могу эту жизнь продолжать,
А порвать с ней – мучительно сложно.
Тяжелее всего уезжать
Нам оттуда, где жить невозможно.

Теперь Игорь Губерман живет в Израиле.

Живется ему там по-разному, о чем подробнее будет рассказано ниже. Не без грусти написал он мне в одном из писем:

Варясь в густой еврейской каше,
Я остаюсь угрюм и тих.
Кругом кишат сплошные наши,
Но мало подлинно своих.

Прочитав эти строки, я вдруг вспомнил, как в конце 60-х в моем родном Питере, где-то на Таврической улице, около двенадцати ночи Игорь, выйдя вместе со мной из гостей, прыгал по тротуару на одной ноге, громко распевая песню:

Норильск не порт и не курорт —
Это лагерь, стеной огороженный.
Там бьют жидов у кромки льдов,
А потом заедают мороженым.

Пение это внезапно было прервано милицейским свистом. Подошедший постовой потребовал от нас штраф за то, что мы нарушаем покой граждан после нуля часов, но, услышав, что речь идет о жидях, сказал: «Ладно, пойте, только потихоньку». Наши лица он в темноте не разглядел.

В последние годы у Губермана за рубежом и в России вышло немало книг стихов и прозы, из которой наиболее интересной представляется уже упомянутая книга «Прогулки вокруг барака», поражающая трагизмом своей жестокой документальности и неистребимым оптимизмом автора.

И хотя Игорь теперь – гражданин Израиля, его лучшие стихи остались в России. Чаще всего как безымянный народный фольклор, без имени их автора. Грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, они могут жить подлинной жизнью только внутри российской действительности, их породившей.

Что же касается его романа, посвященного жизни и мученической смерти художника и поэта Николая Александровича Бруни, «Штрихи к портрету», то роман этот, так же как и повесть «Прогулки вокруг барака», во многом автобиографичен. Написан он уже в начале 80-х годов, после возвращения Игоря из лагерей и сибирской ссылки. В одном из героев романа, писателе Илье Рубине, собирающем материал для книги о Николае Бруни, расстрелянном в лагере в Ухте в конце 30-х годов, без труда угадываются черты автора. Не говоря уже о знаменитых «дацзыбао», которые сочиняет и щедро читает Рубин.

Повествование охватывает все поколения узников – от первых Соловецких лагерей до середины 80-х, от последних тщательно уничтожаемых представителей русской дворянской интеллигенции, к которой принадлежал сам Николай Бруни, до убитого гэбэшниками в парад-

ной психиатра из сегодняшних дней, разоблачавшего преступления советской психиатрии. Написанная в начале 80-х, когда многие ужасающие факты лагерной жизни еще не были широко известны, книга Губермана не потеряла со временем своего фактологического и литературного интереса, даже после знаменитых «Колымских рассказов» Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. В романе исподволь просматривается неистребимая жизнерадостность автора, дающая усмешливую окраску, казалось бы, безысходно трагическим сюжетам. Именно эта тональность – смех через трагическую маску – так же отличает от других Губермана-прозаика, как и Губермана-поэта.

Летом 1973 года в Коктебеле мне довелось познакомиться с вдовой Максимилиана Волошина – Марией Степановной, незадолго до ее смерти. Мы с ней несколько раз поднимались на гору к могиле Волошина, и она рассказывала еще не опубликованные в те годы истории о его не состоявшейся дуэли с Гумилевым, о письме, которое он написал во врангелевскую контрразведку, чтобы вызволить арестованного Мандельштама. По просьбе благоволившей ко мне Марии Степановны мне даже посчастливилось петь свои песни в высокой мастерской Волошина для небольшого круга пожилых людей, еще помнивших недолгий Серебряный век российской поэзии. При этом на гитаре мне аккомпанировал Виктор Фогельсон.

Помнится, тем же летом поэт Юрий Ряшенцев познакомил меня с заместителем директора Центрального дома работников искусств Петром Семеновичем Фрединым, невысоким бодрым старичком с густым бобриком коротко стриженных седых волос и энергичной походкой. Выяснилось, что Петр Семенович, которому в то время исполнилось уже восемьдесят четыре года, – личность в известной степени легендарная. Еще до революции он был одним из известнейших одесских шансонье, пел на свадьбе у Бени Крика («Ну, таки, не у Бени Крика, а у Мойши Япончика, но вы ведь понимаете, что это одно и то же лицо!»), вел дружбу с Ядовым, автором знаменитой «Мурки», и был всеобщим любимцем одесситов. Юра представил меня ему как одного из ведущих современных бардов. «Это вот вы один из тех, которые современные? – прищурившись, спросил Петр Семенович, скептически оглядев меня. – Что, они все такие же паршивенькие? Нет, нет, молодой человек, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я думаю, что вы не хуже тех, других, которых я не видел. Но ведь, если разобраться, что вы можете? Вас что, кто-нибудь знает или любит? Вас уважает кто-нибудь, как уважали меня в старое время? Думаю, что нет. Вот когда я в Одессе ехал со свадьбы Бени Крика, то меня везли на фэртоне с зажженными фонарями, а на подножках слева и справа стояли налетчики в черных масках и с наганами, чтобы меня, не дай бог, никто не обидел. Так меня уважали, потому что я был народный певец. Вы можете на это пожаловаться?»

Я упрашивал Петра Семеновича спеть что-нибудь из своего репертуара. Он долго отнекивался, но наконец сдался и спел пару своих старых песен. Одна из песен была посвящена любовной теме. Автор описывал свою любовь к весьма толстой даме, с которой у него ничего не вышло, а потом он полюбил тощую. На фоне довольно пошлого и банального текста мне в память запали две поистине замечательные строчки:

Целовал без всякой злости
Эти кожи, эти кости.

В конце 30-х Петр Семенович был посажен, как и многие, по ложному доносу и около пятнадцати лет отсидел в Колымских лагерях. Только его несокрушимый оптимизм и твердый характер да оказавшееся богатырским здоровье помогли ему выжить в этих нечеловеческих условиях. «На допросах меня били палкой по голове, – рассказывал он, – и требовали, чтобы я сознался, что я – резидент итальянской разведки. Я сначала никак не мог понять, что такое – резидент. Я думал, что резиденция – это дом такой, дворец, где живет высокий гость. А меня все били и кричали, чтобы я не валял дурака и сознавался. И знаете, у них таки были к тому

основания». – «Какие основания? – спросил я. – Вы что, были в Италии?» – «Да нет, конечно, не был». – «Может быть, у вас какие-нибудь родственники в Италии?» – «Не морочьте мне голову, неужели я, по-вашему, похож на человека, у которого могут быть родственники в Италии?» – «Так какие же основания у них были?» – удивился я. «Дело в том, что когда я в двадцать первом году был в Житомире, то целые сутки жил в гостинице с названием «Италия»»...

История прижизненной реабилитации Петра Семеновича была не менее трогательной. «Меня вызвал к себе очень симпатичный молодой полковник КГБ, – улыбаясь, продолжал он свое повествование, – и сказал: «Петр Семенович, выяснилось, что мы зря продержали Вас пятнадцать лет в лагерях. Только я очень вас прошу, не держите зла за это на советскую власть». – «И что вы ему ответили?» – «Я ему ответил: «Товарищ полковник, ну как я могу держать зло на советскую власть? При какой другой власти бедный местечковый еврей мог бы стать резидентом итальянской разведки?»

Острова в океане

И вблизи, и вдали – все вода да вода.
Плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то.
Ах, питомцы Земли, как мы рады, когда
На локаторе вспыхнет мерцающий контур!
Над крутыми волнами в ненастные дни,
И в тропический штиль, и в полярном тумане
Нас своими огнями все манят они,
Острова в океане, острова в океане.
К ночи сменится ветер, наступит прилив.
Мы вернемся на судно для вахт и авралов,
Пару сломанных веток с собой прихватив
И стеклянный рисунок погибших кораллов.
И забудем мы их, как случайный музей,
Как цветное кино на вчерашнем экране, —
Те места, где своих мы теряем друзей, —
Острова в океане, острова в океане.
А за бортом темно. Только россыпь огней
На далеких хребтах, проплывающих мимо.
Так ведется давно – с незапамятных дней.
И останется так до скончания мира.
Не спеши же мне вдруг говорить про любовь, —
Между нами нельзя сократить расстояний,
Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой —
Острова в океане, острова в океане.

Осенью 1973 года мне снова открыли визу в заграничье, и началась полоса почти ежегодных океанских экспедиций в самые разные районы Мирового океана. В последующие десять лет мне довелось плавать во всех океанах, высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, опускаться на океанское дно в обитаемых подводных аппаратах.

Больше всего мне пришлось ходить в те годы на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». В 1973–1976 годах мне довелось четырежды побывать в Австралии и дважды – в Новой Зеландии.

Первое же знакомство с Австралией, так не похожей на европейские страны, сразу показывает, что вы попали на другой материк, почти на другую планету. Все – вверх ногами: жаркий север и холодный юг. Солнце светит с севера. Единственное хищное существо на всем континенте (не считая крокодилов) – дикая собака динго, да и та завезена европейцами. Помню, как поразило нас, когда мы обнаружили, что в городе Сиднее существует пивопровод. Поворачиваешь кран, и прямо в твоём доме из крана течёт превосходное пиво! Не забывай только платить по счётчику.

В порту Аделаида нам, как и положено, раздали паспорта перед увольнением. Прибывший на судно советский консул, однако, сказал, что паспорта с собой брать не надо. «Как не надо? – не понял «перпом». – А как же я смогу удостоверить, что я – это я?» – «Очень просто – скажете», – улыбнулся консул. Нас, советских людей, страшно поразило, что, оказывается, можно жить без паспортов, и, как выяснилось, довольно неплохо. В Австралии удивляло мно-

гое. Удивляли черные страусы эму и кенгуру, свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах Мельбурна и Аделаиды. Удивила в воскресный день демонстрация женщин в Сиднее, во главе которой две здоровенные девахи несли транспарант: «Свободу лесбийской любви». «У вас что, запрещена лесбийская любовь?» – недоуменно спросил я у нашего австралийского коллеги. «Нет, конечно», – ответил он. «Чего же они требуют в таком случае?» – «Заключения законных браков».

В первое же увольнение в Сиднее мы с моим приятелем Олегом Николаевым, страстным собирателем морских раковин, отправились на роскошный городской пляж с тонким жемчужным песком и, несколько удивленные тем, что никто не купается при такой теплой воде, немедленно бросились в нее. Мы уже доплыли до буйков, когда заметили, что по берегу бежит какой-то человек, который машет нам руками и кричит: «Шакс, шакс!» Оказалось, что купание в этот день настрого запрещено, – близко к берегу подошли акулы. Когда до нас дошел смысл его криков, мы изо всех сил устремились к берегу. Надо сказать, что, несмотря на испуг, плыли мы довольно медленно, так как выгребали только одной рукой. Второй каждый оберегал самое дорогое и уязвимое место.

С Олегом Николаевым, напоминавшим обликом известного киноактера Моргунова, могучим с виду грузным здоровяком, несколько лет спустя безвременно ушедшим из жизни после мучительной тяжелой болезни, я жил тогда в одной каюте на самой нижней палубе в кормовой части судна, где ютился судовой «пролетариат». Отсек этот назывался «на дне». Олег, имевший явную склонность к выпивке, почти каждый день придумывал очередные поводы для этого, пока я наконец не взбунтовался, наотрез отказавшись от такой жизни. Тем временем «Дмитрий Менделеев» вплотную подошел к Антарктическому материку, и начались высадки на шлюпках на припайный лед.

Вернувшись на судно после очередной шлюпочной экспедиции, Олег приволок в каюту изумрудно-зеленый, пахнущий свежестью кусок антарктического льда и, накрошив его в литровую банку, начал наливать в нее спирт. «Что ты делаешь? – возмутился я. – Опять пить? Не буду!» – «Саня, – взмолился Олег, – но ведь мы настоящим антарктическим льдом спирт разведем. Такого напитка никто еще не пробовал!» Спорить было бесполезно.

В связи с этим вспоминается история, поведенная мне одним из участников первой советской антарктической экспедиции. На дизель-электроходе «Обь», направлявшемся к антарктическим берегам, один из участников экспедиции долго и безуспешно ухаживал за одной из судовых девиц, никак не поддававшейся его настойчивым притязаниям. Наконец, когда судно пришло в Антарктиду и научный состав высаживался, он уговорил ее съездить на берег и там неожиданно объявил своей неприступной избраннице, что если она прямо сейчас в наскоро поставленной палатке отдастся ему, то будет первой в истории человечества женщиной, которая занималась любовью в Антарктиде. Это обеспечило ему немедленный успех.

Вернемся, однако, в Австралию. Помню, в Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на «светлое время суток», уже закончилось, заместитель начальника рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть секс-фильм «Австралия после полуночи». Около двух часов, усадив меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. «А что он ей сейчас сказал?» – ежеминутно интересовались мои наэлектризованные соседи. «А она ему?»

Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна: две буфетчицы из кают-компаний в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе.

Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку

«Столичной», которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. «Александр Михайлович, – заявила Галя, – мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?» – «А почему же вы вдвоем пришли?» – неловко попытался пошутить я. «Как почему? – совершенно серьезно ответили они. – Там же все время – две женщины с мужчиной».

Через два дня, рано утром, я проснулся от запаха цветов, струящегося в открытый иллюминатор. Наше судно медленно втягивалось в бухту порта Хобарт на острове Тасмания. Нигде и никогда более не видел я такой первозданной природы, эндемичного, как у Конан-Дойля, мира и счастливых людей, совершенно непричастных к нашим европейским проблемам, не говоря уже, конечно, о российских.

Не меньшее впечатление оставила и Новая Зеландия, небольшая и чистенькая «овечья» страна, благословенные задворки беспокойного мира. Помню, как сокрушалась приехавшая на судно молоденькая жена нашего пресс-атташе: «Я думала, Володя меня действительно за границу везет. А здесь такая скукота – прямо как у нас. Одно название, что Новая Зеландия». В Веллингтоне я неожиданно встретился с собственной песней про Канаду, правда, уже переведенной на английский язык и записанной на пластинку в исполнении джазового трио под названием «*Sanset in Kanada*».

Местные корреспонденты, побывавшие на «Менделееве», сокрушенно писали, что, судя по всему, в России плохо с белой мукой, так как русские на борту вынуждены питаться черным хлебом. Одновременно представители советского посольства бережно грузили в свои «холдены» и «форды» буханки «черняшки», чтобы потом порадовать своих домочадцев...

В том же 74-м году, в 12-м рейсе «Дмитрия Менделеева», я впервые попал в Токио, один из крупнейших городов мира, поразивший меня своей принадлежностью уже, пожалуй, не к XX, а к XXI веку. Я долго вспоминал, где я уже видел этот гигантский мегаполис, рассчитанный не столько на людей, сколько на автомобили, и вдруг узнал его. Видел я его на экране в фильме Андрея Тарковского «Солярис», снятом по фантастической повести Станислава Лема, где изображается город будущего.

В 76-м году, уже в 16-м рейсе «Дмитрия Менделеева», снова заходившего и в Австралию, и в Новую Зеландию, мне посчастливилось попасть на острова Тасманова моря Норфолк и Лорд-Хау, а также Антарктические острова Кемпбелл и Маккуори. На острове Маккуори, где живут пингвины и морские слоны, нам не повезло. У самого берега, не защищенного от открытой океанской волны, неожиданно перевернулась резиновая лодка, доставлявшая нас на берег (мотобот не мог подойти к береговым камням вплотную), и мы вместе с руководителем геоморфологов Александром Васильевичем Живаго оказались в воде.

С непостижимой скоростью, вскочив на ноги, мы побежали от следующего океанского вала. Бодрость наша подстегивалась тем, что температура воды была около девяти градусов. На берегу нам на помощь пришли австралийские полярики, приложившие все усилия, чтобы не дать нам простудиться. В ответ на их заботы мы пригласили их на судно. Оттуда они уехали уже далеко за полночь, лихо распевая песни, размахивая подаренным им красным флагом и сильно рискуя не отыскать в темноте свой родной остров.

Случались в этом рейсе истории и трагические. На острове Норфолк в первый день нового года, 1 января, неожиданно утонул во время прибрежного купания тридцатидвухлетний моторист с нашего судна Юрий Пересторонин. Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон в открытом океане, при котором, после недолгой прощальной панихиды, тело, зашитое в саван, с привязанным к ногам колосником опускают в море. Теплоход делает прощальный круг с долгим прощальным гудком, и в воду бросают венки.

Помню, перед выходом в 16-й рейс в 1976 году, когда «Дмитрий Менделеев», полностью снаряженный для экспедиции, стоял у причала во Владивостоке, стало известно, что в город каким-то агитпоездом прибыла бригада писателей из Москвы с Аркадием Стругацким, одним из знаменитых братьев, книгами которых зачитывалось наше, да и не только наше поколение. Поскольку я с ним был знаком, судовая общественность тут же решила с моей помощью привезти его на судно для встречи. Я выяснил, что живет он в гостинице «Владивосток», и, созвонившись, договорился о его приезде на следующий день, благо судно стояло почти напротив.

В указанное время народ собрался в кают-компанию, однако писатель не прибыл. Я поехал в гостиницу и с сожалением констатировал, что прибыть он уже не в состоянии, так как с утра его перехватили и напоили. На следующий день я сам с утра поехал за ним. Выяснилось, что на первом этаже гостиницы размещается бар, мимо которого ни один из приехавших писателей пройти утром не способен. Ценой невероятных усилий мне удалось протащить Аркадия с помощью его друга Марьяна Ткачева мимо бара к выходу, мотивируя наши действия тем, что в каюте капитана уже накрыт стол.

Вечером того же дня мы вместе со Стругацким должны были выступить во владивостокском Доме ученых. Зал был набит битком. Мы с Аркадием сидели на сцене вместе с хозяйкой Евгенией Александровной, женой тогдашнего президента Дальневосточного научного центра Андрея Петровича Капицы. Стругацкого встретили бурными аплодисментами. Как раз было время, когда знаменитые романы братьев Стругацких «Сказка о тройке», «Обитаемый остров» и другие были у нас под запретом и публиковались либо за рубежом, либо в провинциальных журналах по недосмотру местных властей (например, в журнале «Байкал»). Аудитория слушала его, затаив дыхание, пришла масса записок. В одной из них был вопрос: «Уважаемый Аркадий Натанович, где можно прочесть полностью ваш роман «Обитаемый остров»?» – «Как где? – удивился ободренный безусловным успехом и покрасневший Стругацкий. – Журнал «Грани», издательство «Посев», Мюнхен, – очень рекомендую». В зале наступила тишина. Вопросов больше не последовало. Часть людей из первых рядов, боязливо озираясь, начала пробираться к выходу. «Слушай, что ты говоришь? – шепнул я Стругацкому, видя, как занервничала наша ведущая. – Ты что, с ума сошел?» – «А пусть они не задают дурацких вопросов», – с безмятежной улыбкой ответил он.

В последующие годы мне довелось быть в приятельстве с Аркадием Натановичем до самой его безвременной смерти, и я никогда не переставал удивляться его таланту художника и философа, моментально схватывающего и связывающего вместе самые разные стороны мироздания. Его внезапный уход из жизни – огромная потеря не только для отечественной, но и для мировой литературы. Все называют братьев Стругацких писателями-фантастами, однако они прежде всего художники, воплотившие в условной ситуации фантастических романов то, что не смогли бы опубликовать в реалистической фабуле. В этом они сродни Бредбери и Кларку или, например, Окуджаве, который вряд ли может считаться «историческим писателем». Просто их герои вынуждены перемещаться во времени назад или вперед. Отсюда и острая социальная актуальность их романов в нашей чуткой к любой «крамоле» читательской аудитории, и гонения на них.

Жил он неподалеку от меня на Юго-Западе, напротив магазина «Польская мода» и странного вида пивного бара «Ракушка», унылого сооружения из грязно-серого, распавшегося на блоки бетона, более напоминающего бомбоубежище или общественный туалет. Теперь, проходя мимо этого опустевшего и заброшенного бывшего бара, я вспоминаю, как в повести Стругацкого «Хромая судьба» один из фантастических посетителей продал там автору «Партитуру труб Страшного Суда», и сердце мое сжимается холодом.

Помню, с каким увлечением работал он над сценарием фильма «Сталкер», вдохновленный возможностью сотрудничать с гениальным Андреем Тарковским, которого высоко ценил. Он же повел нас на премьеру этого фильма, рассказав по дороге драматическую историю о

том, что после съемок первого варианта фильма «Пикник на обочине» вся отснятая пленка оказалась бракованной. Пришлось все начинать сначала, а деньги на съемки уже были потрачены. Тогда и решено было делать новый сценарий «Сталкера», по новой идее Тарковского, пленившей Аркадия.

Что же касается его литературных вкусов, то были они довольно нестандартными. Где-то в конце 70-х в Москву приехал Александр Кушнер, и я, пригласив его домой, решил позвать и Аркадия, чтобы познакомить моего любимого поэта с не менее любимым писателем. Из этого, однако, ничего не получилось. Оба сидели надутые и мрачные, явно не понравившись друг другу. Послушав стихи Кушнера, Стругацкий заявил, что его любимый поэт – Андрей Вознесенский, а Кушнер сказал, что не любит фантастики и литературой ее не считает. Оба ушли, почему-то обиженные на меня.

В 1978–1979 годах, в 21-м и 23-м рейсах «Дмитрия Менделеева» мне довелось много плавать в северной части Тихого океана – от Токио до Сан-Франциско и дважды заходить на Гавайские острова. Забавный случай произошел с нами в Гонолулу в 1978 году. Тройка наша во главе с начальником нашего магнитного отряда Иваном Ивановичем Беляевым, страстным фотографом, отправилась под вечер поглазеть на «местный колорит».

Надо сказать, что выходы в город в одной тройке с Иваном Ивановичем всегда отличались от обычных. Фанатичный фото– и кинолюбитель, Иван Иванович постоянно таскал с собой минимум два фотоаппарата – для слайдов и для черно-белой пленки, киноаппарат и, кроме того, всевозможные насадные объективы и разного рода штативы и экспонометры. Объемистое это имущество грузилось в специальный саквояж, который носили все по очереди. Сам Иван Иванович, обвешанный тремя аппаратами, два из которых он постоянно держал в руках, шустро перебирая своими худыми ногами в белых тропических шортах, обычно стремительно вырывался вперед, стараясь угледеть какой-нибудь живописный кадр. Мы с моим приятелем Лешей Сузюмовым еле за ним поспевали. Так было и на этот раз. Уже стало темнеть, когда мы добрались до припортовой части Гонолулу – так называемого «Китайского города», где располагались многочисленные секс-шопы, кинотеатры, ночные бары со «стрип-шоу» и другие сомнительные заведения. Иван Иванович, как обычно, шел впереди. Вдруг из ближайшей подворотни выскочило какое-то лохматое существо, как оказалось, женщина, либо пьяная, либо «под кайфом», и с криком «секс-секс» бросилось на Ивана Ивановича, намертво вцепившись худыми пальцами в самое его мужское сердце. От неожиданности, а возможно и от боли, Иван Иванович вскрикнул. Руки его, однако, были заняты фотоаппаратами, и он оказался совершенно беззащитен.

Женщина, не отпуская, потащила его за собой в калитку – и он пошел (а что он мог еще сделать?). Мы бросились за ним. «О'кей», – заулыбалась женщина, увидев нас и радуясь большому заработку. «Аппараты возьмите!» – страдальческим голосом крикнул Иван Иванович. Мы с Алексеем подхватили у него аппараты, и он начал отчаянно оттираться обеими освободившимися руками. Поняв, что добыча буквально ускользает из рук, женщина в свою очередь яростно закричала. На ее крик немедленно появились еще два или три таких же лохматых видения. Выдернув из ее цепких рук Ивана Ивановича, мы позорно бежали до самого судна, лишь пару раз остановившись, чтобы перевести дух. Примерно неделю лечил он кровоподтеки и царапины, ставшие результатом этого внезапного нападения.

В том же 21-м рейсе мне впервые посчастливилось принять участие в одном из первых погружений на океанское дно в обитаемом подводном аппарате «Пайсис», незадолго до этого построенном по заявке нашего института в Канаде. В свое первое погружение я попал случайно, «дуриком». Прибывшие на борт «Дмитрия Менделеева» лихие наши подводные пилоты во главе с Анатолием Сагалевиным и Александром Подражанским, уже набравшие немалый опыт погружений на «Пайсисах» на озере Байкал, любили петь песни под гитару, в том числе и мои. Толя Сагалевиный и сам писал песни. Подружившись со мной, Сагалевиный и Подражанский

начали требовать, чтобы я написал для них песню подводного пилота. В ответ я им объяснил, что умею писать только «с натуры». «Возьмете в погружение – напишу, а нет – так ничего не получится».

Это было время, когда специализированных судов-носителей подводных аппаратов еще не было и «Пайсис» опускался прямо с борта «Дмитрия Менделеева». Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы – у них за плечами были многочисленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными «волками», а мы – робкими «чечако». Несколько лет назад Сагалевич, а ему уже за семьдесят, был удостоен звания Героя России за погружение на глубину 4300 метров в точке географического Северного полюса. А в 1998 году коллектив, возглавляемый им, провел глубоководные киносъемки, позволившие американцам создать знаменитый фильм «Титаник». Но это будет через двадцать лет, а в конце 70-х погружения на подводных обитаемых аппаратах в Мировом океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.

Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару – так уже погиб один американский экипаж), за герметичностью обитаемого отсека (водяная тревога) и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы «в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие». Мой главный наставник Саша Подражанский после очередного сеанса обучения управления аппаратом, в процессе которого он показывал, «как надо отжимать пальцы трупя от рычагов управления, чтобы получить к ним доступ в случае аварии», когда мы оба полностью одурели от невыносимой духоты в отсеке стоявшего на солнцепеке «Пайсиса», сказал: «Ну, это-то вряд ли понадобится: в случае чего ты первый загнешься». И улыбнулся: «Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем».

«Во время первого погружения, – говорят пилоты, – от наблюдателя проку мало – он обалдевает». Действительно, в это время находишься в состоянии, «близком к эйфории». Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружениях, о его впечатлениях. «Понимаешь, – ответил он мне, – когда задраили люк и аппарат стал погружаться и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал: «Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?» – «Молодец, что не врешь, – засмеялся я, – со мной в первый момент было то же самое».

Запомнив предостережения пилотов, во время первого погружения на «Пайсисе» в Тихом океане, на атолле Хермит, я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией.

И вот люк задраен. Командир Подражанский включает микрофон подводного телефона: «Менделеев», я «Пайсис». Прошу разрешить погружение». В ответ слышится: ««Пайсис», я «Менделеев». Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Вплотную прикипаю к стеклу иллюминатора. Мелкие пузыри воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. «Саша, почему они всплывают?» – спросил я у командира. И он насмешливо ответил: «Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся».

Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине четырехсот метров, и я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода.

Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки. «Саша, вода», – окликнул я командира, казалось бы, спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. «Не бери в голову», – ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние – холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают – то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их «на прочность».

Мое первое погружение положило начало новой жизни, дав старт удивительной серии подводных погружений в разных океанах на всех видах подводных аппаратов – «Пайсисе», «Аргусе» и, наконец, «Мире».

Следует сказать, что обещанную песню подводного пилота я после первого же погружения написал, пораженный сходством планктона со снежными хлопьями:

Не пиши тревожных писем мне,
Не зови немедленно назад:
В океанской темной глубине
Нас несет подводный аппарат.
Я плыву беззвучно, как во сне,
Надо мною – ни буев, ни вех.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.
Говорил тебе я много раз:
Ты важней всего в моей судьбе,
Но важны не менее сейчас
Кислород, насос и ЦГБ, —
Чтоб звенел серебряный твой смех,
Чтобы день весенний не померк.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.
Это значит, в норме все пока,
Как и быть, конечно же, должно,
И поднимем снова мы бокал,
И прокрутим новое кино.
Если б жизнь иную дали мне,
Я б ее, наверное, отверг.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Пилотам песня понравилась, и они взяли ее на вооружение, дружно распевая на всех своих многочисленных вечеринках. А вот директору института Монину она пришлась не по душе. «Это трусливая песня, – со свойственной ему безапелляционностью заявил он, прослушав ее. – Они радуются тому, что всплывают. А настоящие подводники должны радоваться, когда погружаются». Не знаю, как «настоящие подводники», а я каждый раз радовался очередному всплытию не меньше, чем погружению. Судя по тому, что и у самих пилотов любимый тост гласит: «Чтобы число всплытий равнялось числу погружений», они тоже ближе к моему, а к не директорскому мнению.

Одно из погружений запомнилось мне более других. В 1986 году в рейсе научно-исследовательского судна «Витязь» на аппарате «Аргус» мне пришлось погружаться на склоны подводных гор Тирренского моря. У «Аргуса» есть манипулятор – механическая рука, которой

можно брать пробы грунта или отдельно лежащие камни. А вот взять образец породы из коренного залегания, оторвать его от скалы эта рука не может – силенок мало. Поэтому группа наших умельцев во главе с инженером Игорем Ракитиным сконструировала небольшое буровое устройство, приводящееся в действие аккумуляторами «Аргуса». С его помощью можно было пробурить прямо в твердой породе небольшую скважину длиной до двадцати сантиметров, да еще и взять керн диаметром полтора сантиметра. Устройство это успешно испытали на палубе, пробуравив каменную глыбу и получив керн. Однако пилоты наши этой новой технике обрадовались не слишком. Ведь если бур заклинит, «Аргус» встанет на мертвый якорь и не сможет оторваться от дна! Чтобы избежать этой опасности, Ракитин придумал специальное приспособление: аппарат снабжался двумя опорными штангами, которые могли выдвигаться. Если бур заклинивало, аппарат опирался на боковые штанги, вся система отстреливалась, и можно было всплывать. Систему эту поставили на аппарат и испытали прямо на палубе – все работало прекрасно. В первое погружение с бурением отправились два пилота – Виталий Булыга и Александр Горлов, а также я. Дело было на подводном хребте Барони в Средиземном море. Опустившись на дно, мы долго выбирали удобный участок скальной породы для первого бурения. Наконец нашли и начали бурить. Красноватый дымок завихрился из-под бура, медленно, с усилием входящего в породу. Все как будто шло прекрасно, но тут аппарат качнулся, и сверло моментально заклинило. Попытались освободить его обратным вращением, но из этого ничего не вышло. «Жалко, – сказал Булыга, – придется отстреливать. И как раз в этот момент я увидел, что выпущенные нами штанги висят в воде и до дна не достают. Поверхность скалы оказалась неровной, и как мы ни старались дотянуться штангами до твердой опоры, чтобы освободить бур, намертво приковавший нас ко дну, ничего из этого не получалось. Доложили о случившемся наверх. А толку-то что? Чем они могут нам помочь?

Около получаса пилоты упорно раскачивали заякоренный аппарат и пытались обратным вращением вытащить бур из скалы. Муть, взвихрившаяся при движении винтов от илистого дна, залепила иллюминаторы. Скала, однако, держала нас прочно. Мы взмокли и приуныли. Не зимовать же здесь! Тем более что запаса кислорода хватает только на тридцать шесть часов, и больше этого времени гостить на дне как-то не хотелось. «Может, попробуем вперед бурить?» – робко спросил я хмурого Булыгу. «Ты что – чокнулся?» – яростно прошипел он и послал меня довольно далеко, куда даже при всем желании из застрявшего на дне аппарата я отправиться не мог. Однако минут через десять, когда пилотский гнев остыл, а альтернативных вариантов спасения не возникло и терять, похоже, было уже нечего, Саша Горлов начал бурить вперед. К огромному нашему (и прежде всего моему) удивлению и радости минут через десять бур неожиданно освободился, и мы оторвались от дна. Самое примечательное в этой истории, что когда мы возвратились на борт «Витязя», то обнаружили, что в буровом устройстве остался приличный керн, выбуренный из скальной породы. Так, пожалуй, впервые у нас было проведено бурение дна с подводного обитаемого аппарата. Что же касается Ракитина, то он, довольно невозмутимо выслушав наши весьма эмоциональные замечания по поводу надежности его системы, через пару дней довел ее до кондиции, так что при последующем бурении никаких аварийных ситуаций на дне уже не возникало.

В 77-м году на другом судне, «Академик Курчатов», мы отправились в геолого-геофизическую экспедицию с Ю. П. Непрочновым в Северную Атлантику и юго-восточную часть Тихого океана для изучения глубинных разломов океанского дна. В этом трудном рейсе нам впервые удалось получить сведения о строении одной из самых больших трещин в океанской коре – разломе Элтанин, расположенном в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности, где шторм девять баллов – нормальная погода.

По пути мы заходили на солнечные Азорские острова. До сих пор помню маленький городок Понта-Дельгада на зеленом острове Сан-Мигел, прилепившийся на склоне одного из величественных вулканов.

В городе Понта-Дельгада
Нет магазинов роскошных,
Гор синеватые глыбы
Тают в окрестном тумане.
В городе Понта-Дельгада
Девочка смотрит в окошко,
Красной огромною рыбой
Солнце плывет в океане.
В городе Понта-Дельгада,
Там, где сегодня пишу я,
Плющ донжуаном зеленым
Одолевает балконы.
Трели выводит цикада,
Улицы лезут по склонам,
Явственен в уличном шуме
Цокот медлительный конный.
Спят под лесами вулканы,
Как беспокойные дети.
Подняли жесткие канны
Красные свечи соцветий.
Ах, это все существует
Вот уже восемь столетий —
Юбки метут мостовую,
Трогает жалюзи ветер.
Если опять я устану
От ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый —
Ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни,
Цокают звонкие кони
В городе Понта-Дельгада,
В городе Понта-Дельгада.

Надолго запомнились мне гниющая вода в порту Кальяо у берега Перу, над которой с криками кружатся сотни пеликанов, маленький безлюдный остров Кокос в Тихом океане, сплошь заросший «дождевым лесом» и усеянный кокосовыми орехами. Более всего запомнился, однако, Панамский канал, соединяющий два великих океана, по которому судно наше двигалось много часов, перепрыгивая снизу вверх по водяным ступенькам шлюзов. В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне когда-то Игорем Белоусовым о его первом прохождении Панамского канала. Они со Смильгой набрали «изысканных напитков» и устроились в каюте Белоусова перед большим квадратным окном, чтобы посмотреть на Панамский канал. Поскольку судно еще стояло в заливе, в ожидании своей очереди входить в канал, они решили для начала выпить по стаканчику. Когда они снова посмотрели в окно, то опять увидели океан. Выяснилось, что канал давно прошли.

Уже на обратном пути судно зашло в Лас-Пальмас, где случилось описанное выше «питейное происшествие», и в шведский порт Гетеборг. Здесь, в порту, у причала стоит старинный памятник погибшим морякам — бронзовая, позеленевшая от времени, фигура женщины. Подняв фонарь в правой руке, она мучительно и безнадежно всматривается в морскую даль.

Огромное, незабываемое впечатление после описанных плаваний осталось у меня от коралловых атоллов в Океании и Полинезии. В те годы добыча кораллов на безлюдных коралловых островах Тихого океана еще не была запрещена, поэтому каждое такое посещение превращалось в настоящую добычу кораллов и раковин. После захода на коралловые атоллы на судне долго нечем было дышать – во всех лабораториях и даже каютах стояла нестерпимая вонь гниющих кораллов, упорно обороняемых их владельцами. Не случайно возникла судовая поговорка «свой коралл не пахнет».

Судовое начальство, как правило, боролось с кораллами на судне. Создавались специальные комиссии, которые, обнаружив кораллы в служебных помещениях судна, беспощадно выбрасывали их за борт. Обнаружить их наличие было сравнительно нетрудно – по отвратительному запаху гниения. У нас в магнитной лаборатории тоже отгнивали кораллы в полиэтиленовых баках с морской водой, спрятанных в шкафах. Выглянув из двери лаборатории, я неожиданно увидел, что по судовому коридору в нашу сторону направляется комиссия. Что было делать? Решение надо было принимать немедленно. Достав с полки бутылку с бензином, я пролил ее перед входом в лабораторию. Зажимая носы от резкого запаха бензина и браня мою неосторожность, комиссия торопливо проследовала мимо наших дверей, уподобившись стае сбитых со следа ищеек.

Дело, однако, не только в кораллах. Когда плывешь, медленно перебирая ластами и опустив лицо в маску в прозрачную воду, над коралловыми рифами, тебя охватывает ощущение непередаваемого счастья от созерцания солнечного и многокрасочного мира, медленно скользящего под тобой, как земля под летящим ангелом. Красными, зелеными, голубыми цветами мерцают коралловые рощи, между которыми порхают серебряные стайки рыб. Яркомалиновыми, лиловыми и синими бархатными красками вспыхивают распахнутые тридакны. Лучи ослепительного солнца, преломляясь в бирюзе прозрачной воды, вдруг выхватывают из мягких сумерек то ползущего бочком краба в розовом панцире, то лунно-молочную устричную раковину, то белоснежный коралловый песок.

При добыче кораллов плавать приходилось в кедах, тренировочном костюме и перчатках, потому что от коралловых царапин остаются долго не заживающие ранки. На руке висит на веревке фомка для отламывания кораллов. При этом постоянно надо следить, нет ли поблизости акул. Помню, как на атолле Хермит в Южно-Гвинейском море, подплыв к борту кораллового рифа, я сдуру сунул фомку в какое-то отверстие. Оттуда немедленно высунулась отвратительная змеиная морда с кривыми зубами и горящими зелеными глазами. Мурена! От страха я так растерялся, что пару секунд тупо и неподвижно смотрел на нее, как кролик на удава. Потом, опомнившись, рванулся прочь со скоростью атакующего торпедного катера. К счастью, мурена меня не преследовала.

Не менее опасны и тридакны, столь красивые с виду. Стоит только дотронуться до этого моллюска, и массивные белоснежные створки раковины захлопнутся, а разжать их невозможно даже ломом. Это не раз приводило к гибели аквалангистов, попавших в гигантские подводные капканы.

Что касается акул, то они доставляли нам больше всего неприятностей. Дело в том, что измерения магнитного поля в океане, которыми я обычно занимался в экспедициях, производятся прибором, датчик которого буксируется на немагнитном кабеле за судном, на расстоянии не меньше трехсот метров (чтобы избежать влияния железного судового корпуса). Герметичная гондола с датчиком, которую первоначально красили в яркие белые или красные цвета, напоминает большую рыбу. Акулы поэтому часто их атакуют и откусывают. Если учесть, что каждый прибор стоит очень дорого и чаще всего изготавливается в институте ценой большого труда, в количестве двух-трех экспериментальных макетов, легко понять наше расстройство при каждом таком случае.

Не раз и не два я предъявлял «аварийной комиссии» обрывки немагнитного буксировочного кабеля с обломками акульных зубов, чтобы списать дорогой откушенный ею магнитометр. Наконец в каких-то японских статьях я прочел, что акула в воде не видит черных и темно-зеленых предметов. Помню, как потешались надо мной мои коллеги, когда я, сидя на кормовой палубе, упорно перекрашивал наши красивые бело-красные гондолы в грязно-зеленый цвет. Как ни странно, это помогло. Атаки акул на нашу аппаратуру прекратились. Команда надо мной подшучивала. В судовой стенгазете была даже помещена карикатура, на которой я был изображен с обрывком кабеля в руках. Ниже красовалась такая подпись:

Спасу нет от произвола
Посреди нейтральных вод:
Съел магнитную гондолу
Немагнитный кашалот.

Забавная история произошла в 23-м рейсе «Дмитрия Менделеева» в 79-м году во время нашего захода в Сан-Франциско, где заранее по радио на борт была приглашена группа ведущих американских ученых из геологической службы США. Не успели мы пришвартоваться к причалу, как на борт явился встревоженный консул и объявил нам, что резко возросла напряженность между СССР и США, что мы «накануне второго кубинского кризиса» и что лучше всего нам как можно скорее убраться отсюда подобра-поздорову, пока нас не интернировали. Попытки нашего начальника Ю. П. Непрочнова сказать, что мы планируем прием для американских ученых, вызвали только раздражение: «Какие там ученые! Никто к вам не приедет. Смотрите, чтобы вас бомбами не закидали!» Непрочнов загрустил, однако к приему мы на всякий случай приготовились, хотя и не очень надеялись. Тем не менее ровно в восемь вечера перед самым бортом затормозило более десятка машин, и вся американская группа прибыла к нам в полном составе.

Глава геологической службы, высокий и стройный седой геофизик с мировым именем, провозгласив первый официальный тост за гостей, заявил, поднявшись над столом, на чистом русском языке: «Этот слюнтяй Картер и его убогая администрация пытались нам запретить общаться с вами из-за каких-то своих очередных политических махинаций. В связи с этим считаю своим долгом заявить вам, что мы – прежде всего люди науки. Поэтому мы срать хотели (я правильно сказал по-русски?) на наше правительство. Надеюсь, вы точно так же относитесь к своему», – закончил он, обращаясь к Непрочнову. Тот, скромно промолчав, вежливо улыбнулся, и все дружно выпили...

В июне 1982 года я защитил докторскую диссертацию на тему «Строение океанской литосферы и формирование подводных гор». В основу ее легли палеомагнитные реконструкции океанов и континентов геологического прошлого Земли от шестисот миллионов лет до нашего времени, впервые рассчитанная карта мощности твердой оболочки нашей планеты – литосферы в океанских областях и результаты изучения вулканических подводных гор в океане. Экспериментальную основу работы составили материалы по геофизике и геологии, собранные в шестнадцати океанских рейсах за годы плаваний. В 1985 году в издательстве «Наука» в Москве вышла моя монография под тем же названием.

Хотя счет на защите диссертации был «сухим», не обошлось без казусов. Так, один из старейших геологов доктор наук Дивдериани, встретив меня в лифте за несколько дней до защиты, критически оглядел мою затертую джинсовую куртку и сказал: «Надеюсь, вы не вздумаете в таком виде выходить на докторскую защиту. А не то вам черных шаров накидают за неуважение к ученому совету». Пришлось надевать не только костюм, но и нелюбимый мною галстук. Кстати, о галстуке. Я действительно почему-то всю жизнь старался его избегать, за исключением «протокольных» событий, требующих его обязательного наличия. Так, в июне

1999 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где президент Ельцин вручал мне премию имени Булата Окуджавы, я оказался, пожалуй, единственным из всех присутствующих мужчин без галстука. Примерно за год до этого, в апреле 1998 года, на общем собрании Российской академии естественных наук в актовом зале МГУ мне вручали Синий крест Академии Наук, и я по этому случаю был в костюме с галстуком и академическим значком. Вечером того же дня мне пришлось выступать на литературном вечере в Доме композиторов, где я получил такую записку: «Я видел Вас при Хрущеве, я видел вас при Брежнев и Горбачеве, но впервые вижу вас при галстуке».

Накануне защиты мы долго беседовали слевой Зоненшайном. Поскольку главным предметом работы было строение литосферы, то, естественно, обсуждали, что такое литосфера. После долгого обсуждения согласились на том, что корректного геологического определения этот термин не имеет. Тем не менее самым первым из заданных мне после доклада вопросов был вопрос коварного Левы: «Что такое литосфера в вашем понимании?» Он же на банкете уже после защиты, поднимая первый бокал, заявил: «Хорошо быть эстрадником. Городницкий привык все время стоять на сцене с микрофоном. Другой бы стеснялся, отвечая на вопросы, а этого нахала ничем не собьешь. Да и кто захочет быть Дантесом?»

На самой защите ко мне подсел профессор Григорий Исаакович Баренблатт, один из крупнейших физиков-теоретиков, член Академии Наук США, «злой мальчик» нашего ученого совета, известный своими уничтожающими выступлениями, и, саркастически улыбаясь, шепнул: «Я бы, конечно, с удовольствием кинул вам черный шар. Но если в урне окажется только один бюллетень «против», то всем сразу станет ясно, что это мой, и моя дочь просто выгонит меня из дому. Она, видите ли, ваша поклонница. Поэтому я вынужден голосовать «за». Он же, когда зачитывали отзыв виднейшего нашего магнитолога Аркадия Моисеевича Карасика, в котором справедливо отмечались многочисленные стилистические погрешности текста, ядовито сказал председателю ученого совета Монику: «Обратите внимание, Андрей Сергеевич, как один инородец упрекает другого в плохом знании русского языка».

Сам Аркадий Моисеевич Карасик, талантливейший ученый, один из первых отечественных магнитологов, положивший начало российской школе морской магнитометрии, несколько лет спустя скоротечно скончался от внезапно обнаружившегося у него рака желудка. Его научные таланты, уникальная начитанность и каторжная работоспособность сочетались с блестящим и тонким остроумием. Недаром именно он был всегда бессменным тамадой и автором многочисленных капустников на геологических конференциях и симпозиумах, прежде всего на традиционных Школах по морской геологии и геофизике, проводившихся в осеннее время в Геленджике в Южном отделении нашего института. Мы с ним не раз схватывались в научной полемике, и он, как правило, одерживал верх, подчас уличая меня в недостаточном знании предмета спора.

До последних дней он был главным координатором всех морских магнитных работ в нашей стране. Уже после его смерти мне рассказали, что, узнав о своем диагнозе, он обратился к Галине Николаевне Петровой, возглавлявшей комитет по геомагнетизму при Президиуме Академии Наук, и попросил, чтобы Рабочую группу по геомагнитным исследованиям океанов после него возглавил я.

Когда-то давно, еще в Ленинграде, где мы с ним жили в одном кооперативном геологическом доме на проспекте Космонавтов, и у него только что родился сын, я написал ему поздравительные шуточные стихи:

Наш Карасик – молодчина,
Это знают стар и мал.
Он прекрасен как мужчина,
Что недавно доказал.

Он хребты открыл на Норде
Под сплошным покровом льда,
Получил за это орден
И не носит никогда.
Он китов собой украсит.
Все мы – кильки рядом с ним.
А фамилия «Карасик» —
Это просто – псевдоним.

С тех пор миновало почти тридцать лет, в течение которых мне довелось тщательно заниматься природой земного магнитного поля и даже написать несколько книг на эту тему, одна из которых вышла в 1996 году в США. Не могу не признаться в связи с этим, что природу геомагнитного поля, казавшуюся мне в молодости простой и понятной, постичь мне так и не удастся. В последние годы мне приходится регулярно читать лекции о геомагнитном поле для геофизиков старших курсов на Геологическом факультете в МГУ и Международном университете в Дубне. Свою первую лекцию я обычно начинаю с вопроса к студентам: «Как устроено магнитное поле Земли?» Многие тянут руки и охотно объясняют мне общеизвестную модель магнитного динамо, описанную в учебниках. Я после этого подробно разъясняю некорректность этой устаревшей модели, противоречащей теории конвективных течений в глубинах нашей планеты. «А как же устроено магнитное поле Земли, профессор?» – робко спрашивают студенты. «Не знаю», – честно отвечаю я, вызывая, как правило, оживление в аудитории. К сожалению, такова участь многих понятий в современной науке.

Завершая экскурс в науки о Земле, не могу не вспомнить еще одного замечательного человека, одного из крупнейших мировых ученых, академика Александра Леонидовича Яншина, с которым познакомился впервые в 1974 году, на Камчатке, где Яншин руководил очередным конгрессом по вулканологии. Там, помнится, произошел забавный инцидент. В конце конгресса была организована уникальная экскурсия – облет камчатских вулканов на небольшом самолете «Як-40». Поскольку мест в самолете было немного, то в него допускали только видных ученых – академиков, профессоров, докторов наук. Меня, в ту пору скромного кандидата наук, протащил за собой наш директор – Андрей Сергеевич Монин, сунув мне в руки свой фотоаппарат и поручив снимать вулканы из окошка самолета. Все как будто складывалось поначалу неплохо, – я как раз занял последнее свободное место. И вдруг, когда уже задраивали дверь, на аэродром приехал еще какой-то академик. Стало ясно, что мне надо выходить. И тут, когда я сконфуженно встал со своего места, жена Яншина, красавица Фидан, неизменно всюду его сопровождавшая, вдруг громко заявила, обращаясь к нему: «Саша, ты как хочешь, а я без Городницкого не полечу». В итоге я остался в самолете, а академик – на аэродроме.

Родившийся в 1911 году, упорный и талантливый самоучка, человек с удивительной волей и работоспособностью, Яншин стал ученым с мировым именем, пройдя через все жизненные испытания. А их было немало. Еще молодым, в тридцатипятилетнем возрасте, он упал в глубокий шурф шахты и чудом остался жив, хотя и оказался покалеченным. Ему грозила инвалидность, но он ее осилил. В течение многих лет он боролся с диабетом, что не мешало ему постоянно работать в дальних экспедициях на Южном Урале, в Средней Азии и в Сибири, завести молодую и красивую жену, стать академиком, вице-президентом Академии Наук СССР, признанным многолетним лидером советской геологической школы, видным тектонистом. Он одним из первых признал новую теорию тектоники литосферных плит. Его энергия и сила характера поражали: уже в преклонном возрасте, с плохим зрением, передвигаясь только с помощью палки, нуждаясь в постоянных уколах, он смело отправлялся в поездки в Китай, Индию, Америку или еще на какой-нибудь край света.

Помню, в начале 1982 года, незадолго до защиты докторской, я приезжал со своей работой к нему в Академгородок Новосибирска, где он был тогда директором Геологического института. «А почему не в стихах?» – спросил он меня, когда открыл объемистый том моей диссертации. Мне сразу вспомнились знаменитые трактаты Салернской медицины, написанные в стихах. Уже позднее я узнал, что в Средние века научные работы во многих университетах Европы должны были представляться для защиты в стихотворной форме.

В 1991 году, когда в Свердловске вышел мой первый одготомник стихов и песен «Пере-летные ангелы», я послал их ему по почте. В то время, став вице-президентом Академии Наук, он уже жил в Москве, но попасть к нему на личный прием было непросто. Примерно через неделю я получил от него большое письмо с благодарственными словами и подробным обсуждением прочитанных стихов. «Дорогой Саша, – писал он, – я не спал всю ночь, читая Вашу книгу, и поэтому счел необходимым написать Вам это письмо». Я был взволнован и растроган этим поступком настоящего русского интеллигента, каким он в действительности и был. Александр Леонидович Яншин умер на рубеже тысячелетий, в конце 1999 года. На его похороны в осеннюю Москву съехались геологи со всей России и из всех бывших республик СССР. Была долгая и торжественная панихида в старом дворце Президиума РАН, потом похороны на Введенском кладбище, потом многолюдный официальный поминальный обед в новом здании Президиума РАН. Когда я наблюдал величавый и неспешный ход траурной церемонии, мне на память невольно приходили похороны британской королевы Виктории на рубеже XX века, красочно описанные у Голсуорси. С уходом Яншина кончилась целая эпоха. Он, так же как Дмитрий Сергеевич Лихачев, был одним из последних реликтовых представителей вымершей русской интеллигенции, оказавшейся невостребованной в век циничных прагматиков и пиарщиков.

В ноябре 1983 года, снова вместе с Ю. П. Непрочновым, я попал в новый рейс «Дмитрия Менделеева», следовавшего через три океана, из Калининграда во Владивосток, по маршруту – Копенгаген, Монтевидео, остров Маврикий, Коломбо, Сингапур, Владивосток. Новый, 84-й, год мы встречали в Уругвае. Помню, как в десятом классе и на первом курсе Горного института мы охотно распевали весьма популярную в то время песенку про сказочный Уругвай: «Я иду по Уругваю, ночь – хоть выколи глаза...»

Когда судно выходило из порта Монтевидео по мутным водам залива в устье Ла-Платы, я обратил внимание на большой черный крест, торчащий прямо из воды. Штурман объяснил мне, что это не крест, а верхушка мачты печально знаменитого в годы Второй мировой войны немецкого «карманного линкора» «Адмирал граф Шпее», наводившего когда-то ужас на дорогах Атлантики, нападая на беззащитные гражданские суда. Линкор был затоплен здесь собственной командой в 39-м году после долгого и кровопролитного морского боя. Мне снова вспомнились послевоенный голодный Ленинград, холодные стены нашего нетопленного класса и лихая мальчишеская песенка про недоступный и таинственный Уругвай. Так появилась, как продолжение этой, моя песня «Я иду по Уругваю».

«Я иду по Уругваю,
Ночь – хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».
Над цветущей долиной,
Где не меркнет синева,
Этой песенки старинной
Мне припомнились слова.
Я иду по Уругваю,
Где так жарко в январе,

Про бомбежки вспоминаю,
Про сугробы на дворе.
Мне над мутною Ла-Платой
Вспоминаются дрова,
Год далекий сорок пятый,
Наш отважный пятый «А».
Малолетки и верзилы
Пели песню наравне.
Побывать нам не светило
В этой сказочной стране.
Я иду по Уругваю,
В субтропическом раю,
Головой седой киваю,
Сам с собою говорю.
Попугаев пестрых перья,
Океана мерный гул...
Но линкор немецкий «Шпее»
Здесь на рейде затонул.
И напомним, так же страшен,
Бывшей мачты черный крест,
Что на шарике на нашем
Не бывает дальних мест.
Я иду по Уругваю
В годы прошлые, назад,
Вспоминаю, вспоминаю,
Вспоминаю Ленинград...
«Я иду по Уругваю,
Ночь – хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».

Обогнув мыс Доброй Надежды, по пути, проложенному когда-то Баурджем и Васко да Гамой, мы вышли в непривычно ласковый и сказочно-голубой Индийский океан, так непохожий на суровую штормовую Атлантику и беспокойный Тихий океан. Потом, конечно, начались такие же шторма, как и в других океанах. Но именно под влиянием этого первого впечатления в одну из тихих лунных ночей сама собой написалась на вахте песенка «Индийский океан».

Тучи светлый листок у луны на мерцающем диске.
Вдоль по лунной дорожке неспешно кораблик плывет.
Мы плывем на восток голубым океаном Индийским
Вдоль тропических бархатных благословенных широт.
Пусть, напомним про дом, догоняют меня телеграммы,
Пусть за дальним столом обо мне вспоминают друзья, —
Если в доме моем разыграется новая драма,
В этой драме, наверно, не буду участвовать я.
Луч локатора сонный кружится на темном экране.
От тебя в стороне и от собственной жизни вдали
Я плыву, невесомый, в Индийском ночном океане,
Навсегда оторвавшись от скованной стужей земли.

Завтра в сумраке алом поднимется солнце на осте,
До тебя донося обо мне запоздалую весть.
Здесь жемчужин – навалом, как в песне Индийского гостя,
И алмазов в пещерах – конечно же, тоже не счесть.
Пусть в последний мой час не гремит надо мной канонада,
Пусть потом новоселы мое обживают жилье,
Я живу только раз – мне бессмертия даром не надо,
Потому что бессмертие – то же, что небытие.
Жаль, подруга моя, что тебе я не сделался близким.
Слез напрасно не трать, – позабудешь меня без труда.
Ты представь, будто я голубым океаном Индийским
Уплываю опять в никуда, в никуда, в никуда.

На Цейлоне в мою каюту вселился шумный и жизнерадостный кинорежиссер Савва Кулиш, автор знаменитого «Мертвого сезона», грузноватый неистребимый весельчак с запорожскими усами. Его появление на борту (он собирал материал для нового фильма) сразу же внесло заметное разнообразие в наш унылый и скупой быт, не только для женщин, наперебой старавшихся обратить на себя его внимание, но и для мужчин. Большой любитель разного рода розыгрышей, это он пустил по судну слух, что «дубленки», купленные всеми без исключения участниками экспедиции еще в Монтевидео, обязательно надо проветривать и сушить на солнце, иначе они сгниют. Надо было видеть, как население «Дмитрия Менделеева» наперебой начало вывешивать свои шубы на всех палубах, в результате чего судно стало напоминать плавучий комиссионный магазин.

Именно Савва организовал и поставил грандиозное шоу в связи с праздником 8 марта. Помню, уже поздно ночью, изрядно выпив, мы вышли с ним на крыло капитанского мостика подышать. В черной тропической влажной ночи с левого борта ярко вспыхивали береговые огни наплывавшего на нас Сингапура. «Саня, ночь-то какая! – мечтательно вздохнул Савва. – Были бы крылья – полетели бы сейчас под этими звездами на таинственный берег!» – «Тройками?» – скептически спросил я. Савва махнул рукой и пошел в каюту.

Дружба наша, завязавшаяся в экспедиции, продолжалась много лет. Саввы не стало в 2001 году. Он был одним из главных мэтров отечественного кинематографа, воспитал целое поколение учеников.

Осенью того же 84-го года в Москве вышла наконец третья книжка моих стихов «Берег» в издательстве «Советский писатель», рукопись которой пролежала там около 12 лет. Выходу ее в немалой степени помог занявший пост главного редактора Игорь Михайлович Бузылев, спустя несколько лет безвременно ушедший из жизни от неожиданного рака. Мы успели с ним подружиться, но дружба эта была, к сожалению, недолгой. Познакомились мы с ним на вечере издательства, куда меня пригласили выступить с песнями. За столом выяснилось, что «От злой тоски не матерись» – его любимая песня, и он никак не мог поверить, что я ее автор. Книгу поставили в план, но и она подверглась строжайшей цензуре: на дворе стоял 84-й год. Помню, как мой редактор Виктор Фогельсон, критически перечитывая стихотворение «Пасынки России», где упоминался среди прочих «пасынков» художник Левитан, заявил: «Левитана надо убрать – слишком много евреев». «То есть как?» – растерялся я. «Очень просто, – ты еврей, я тоже, а тут еще и Левитан. В общем, так, – поскольку тебя и меня заменить невозможно, придется убирать Левитана». Так вместо «художника Левитана» в строке возник «архитектор Монферран».

...Глаз разрез восточный узкий,
Тонкий локон на виске.

Хан Темир, посланник русский,
Переводит Монтескье.
От полей вдали ледовых
Обласкал его Людовик,
Но, читая Монтескье,
Он вздыхает о Москве.
...Громко всхрапывают кони,
Дым костра и звон оков.
Жизнь и честь свою полковник
Отдает за мужиков.
Что ему до их лишений?
На его немецкой шее,
Любопытных веселя,
Пляшет русская петля.
...Зодчий Карл Иванович Росси,
И художник Левитан,
Как ответить, если спросят,
Кто вы были меж славян?
Кто вы, пасынки России,
Неродные имена,
Что и кровь свою, и силы
Отдавали ей сполна?
Тюрки, немцы или греки?
Из каких вы родом стран?
Имена теряют реки,
Образуя океан.

Возвращаясь мысленно назад, думаю, что долгие годы, которые рукопись лежала в издательстве, пошли ей на пользу, дав возможность убрать многие слабые стихи и заменить их более поздними. Пока я был молод, мне казалось, что у меня хватит стихов на десяток книг. Гораздо позднее я осознал, что с трудом могу набрать стихи в лучшем случае на одну очень небольшую книжку.

С января 1979 года мы с женой начали ездить в зимнее время в Дом творчества писателей в Малеевке, бывшей помещичьей усадьбе, располагавшейся неподалеку от Рузы. Основал эту усадьбу в конце XIX века весьма состоятельный человек, вложивший все свое состояние в издательскую деятельность, Вукол Михайлович Лавров. Будучи издателем одного из самых влиятельных журналов того времени «Русская мысль», он в то же время приобрел широкую литературную известность, переведя на русский язык таких классиков польской литературы, как Г. Сенкевич, Э. Ожешко, Б. Прус. В гостях у Лаврова в Малеевской усадьбе нередко бывали В. Дорошевич и Д. Мамин-Сибиряк. Здесь же неподалеку на даче жили в начале XX века В. Гиляровский и главный редактор «Русской мысли» профессор В. Гольцев, ставший одним из основателей кадетской партии. Тесно связана Малеевка также с творчеством А. П. Чехова. Многие исследователи его творчества считают, что история «Дома с мезонином» прямо навеяна пребыванием Чехова в Малеевке. В малеевских архивах сохранилась частично изданная переписка Чехова с Лавровым и Гольцевым, где кроме литературных проблем нередко обсуждаются вопросы, связанные с освоением малеевских угодий.

После революции бывшее имение В. М. Лаврова получило «охранную грамоту» от новой власти, и здесь в 20-е годы разместилась писательская коммуна, преобразованная позднее в Дом творчества писателей. В 30-е годы дом этот стал своеобразным писательским клубом. О

нем вспоминают в своих книгах Фраерман, Паустовский, Миндлин, Гайдар. Здесь работали Михаил Пришвин, Корнелий Зелинский, Мариетта Шагинян, Самуил Маршак, Юрий Нагибин, Чингиз Айтматов, Ирина Грекова и многие другие, любили отдыхать великая актриса Фаина Раневская, выдающийся астрофизик Иосиф Шкловский.

Для меня, связанного с необходимостью ежедневно ходить в институт, этот месяц зимнего отпуска в Малеевке, с одной стороны, был единственной возможностью систематической литературной работы, для которой в рабочие дни не оставалось ни времени, ни сил, с другой – позволял целыми днями ходить на лыжах, к чему я пристрастился еще на Крайнем Севере. После суматошной Москвы с ее бешеным ритмом жизни, напоминающим танец с саблями из балета «Гаянэ», неспешное малеевское существование с четким распорядком дня, похожим на корабельный, заснеженные поля и березовые леса вокруг, а главное – тишина, господствующая здесь, – все, казалось бы, располагало к отдыху, спокойному чтению и несуетной работе. Оглядываясь назад, с удивлением замечаю, что эти «малеевские сидения» продолжались более двенадцати лет, и многое за последние годы написано там.

Когда мы с женой впервые появились в Малеевке, здесь уже тоже, конечно, были свои старожилы, от Александра Галича, Фазиля Искандера до Юрия Корякина и Виктора Конецкого. С последними связано немало баек и бегенд. Так, в конце 70-х, вырвавшись в Москву, Корякин и Конецкий загуляли в ресторане ЦДЛ. Изловившая их там жена Корякина Ирина впихнула их в такси и сунула водителю три червонца (немалые по тем временам деньги) со строгим наказом – не останавливаться до самой Малеевки. Не успели они отъехать от улицы Герцена, как Юрий Федорович Корякин обратился к шоферу: «Слушай, шеф, отсюда до Малеевки – четвертной. Тебе никакой выгоды. Давай так договоримся: два червонца тебе, а один нам, и высади нас на первом перекрестке». Водитель, однако, оказался принципиальным и дверцы не открыл.

Многие писатели и переводчики постоянно жили и работали в те годы в Малеевке. Среди них Фазиль Искандер, Юрий Давыдов, Инна Каринцева, Морис Ваксмахер, Юрий Карякин, Лидия Либединская и многие другие. Каждый, как правило, приезжал с большим объемом работы и устраивался здесь основательно, по-домашнему. Юрий Карякин, например, привозил с собой турецкую феску, которую неизменно надевал дома, и огромный, тогда еще в диковинку, заварной чайник с яркими расписными узорами. В зимнее время он щеголял в огромных валенках и с отпущенной им бородой напоминал лесника. Из тех времен запомнился весьма характерный диалог двух поэтов, встретившихся на тропинке перед главным корпусом: «Ну что, Вася, все пьешь?» – «Да ты что, давно завязал. Гоню нетленку».

С горечью вспоминаю прекрасного писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, с которым впервые познакомился в Малеевке, уже полюбив его повести «Сашка» и «Отпуск по ранению». В его талантливой прозе, так же как и в прозе Виктора Некрасова и Василя Быкова, снова ожила жесткая правда Отечественной войны. Он, помнится, сильно пил, часто был в подавленном настроении. Уже позднее я узнал, что он покончил с собой в дни драматических событий в октябре 1993 года.

В конце 70-х годов традиционными были походы через речку Вертушинку в поселок напротив малеевского дома, где располагалась дача Гали Балтер, вдовы писателя Бориса Балтера, похороненного на малеевском кладбище. В ее доме регулярно собирались писатели, поэты и художники, из которых мне более других запомнился Борис Биргер, выставивший там свои работы.

Само место, где располагалась Малеевка, неподалеку от Москвы-реки, считалось почему-то не очень полезным для здоровья, особенно для сердечников и гипертоников. Поговаривали о том, что дело в заболоченных подзолистых почвах, в еловых и осиновых лесах, растущих в округе. Так или иначе, помню, что именно в Малеевке все время снились какие-то странные, часто тягостные сны.

Округа малеевской усадьбы в те поры была еще относительно безлюдной. В зимнее время любители лыжных прогулок обычно отправлялись разными маршрутами, – либо по «малому кругу» через Воронцово поле, длительностью примерно в два часа, либо по «большому кругу», включавшему путь вдоль высоковольтной линии и выход к Москве-реке. Оба маршрута за долгие годы были изучены нами наизусть. В лыжных прогулках участвовали, как правило, все.

Помню, как неторопливо и величаво передвигался на лыжах, не сгибая колени, Фазиль Искандер, высоко подняв голову в горской папахе и гордо поворачивая ее то влево, то вправо. Теперь незаселенных лесов вокруг малеевского дома почти не осталось, – со всех сторон путь лыжникам перегородили обнесенные забором участки настоящих и будущих дач.

Прошли годы. Вымерли и разъехались многие знаменитые завсегдатаи малеевского Дома творчества. Да и сам этот дом, некогда роскошный и ухоженный, обветшал и обнищал, приходя постепенно в полную негодность. В главном здании малеевского дома, перестроенном из старинного барского особняка в стиле «русского классицизма», с камероновскими фирменными вензелями над главной лестницей, поначалу размещались роскошные старинные мебельные гарнитуры, среди которых выделялся своей массивностью огромный размеров буфет темного дуба. С течением времени вся эта старинная мебель мало-помалу разворовывалась и исчезала бесследно. Писались многочисленные жалобы в правление Литфонда, одного директора сменял другой, но воровство неизменно продолжалось. В конце концов исчез и гигантский буфет, непонятно как вывезенный. Возможно, стараясь замести следы расхищения, правление Литфонда затеяло чрезвычайно дорогостоящий капитальный ремонт в здании, в итоге которого были полностью уничтожены следы старинного интерьера.

Стены столового зала и вестибюля оказались украшенными бездарными барельефами, изображавшими то якобы писателя, сидящего на скамейке с дурацким вдохновенным видом, то уродливых женщин, несущих на голове сосуд. Более десятка сделанных по специальному заказу безумно дорогих и аляповатых люстр и настенных мозаик завершили эту безрадостную картину.

Второй гордостью Малеевки была уникальная библиотека, собиравшаяся еще с дореволюционных времен, где можно было найти почти все, что нужно для работы. В последний год нашего приезда и ее тоже начали понемногу расхищать, несмотря на яростное сопротивление заведующей, Людмилы Федоровны Галенкиной – немолодой и больной женщины, отдавшей созданию и хранению библиотеки более сорока лет, а потом бескорыстно и безнадежно боровшейся с хитрым и всемогущим руководством. Сейчас, в век «рыночных отношений», Малеевке пришел конец, – ворочавший когда-то огромными неподконтрольными деньгами, а затем «неожиданно обнищавший» Литфонд продал ее за бесценок удачливым бизнесменам. При новых хозяевах в 2007 году Дом творчества «Малеевка» погиб под ковшом экскаватора. А жаль – целая эпоха несчастной нашей литературы связана с этим местом.

Хрустальная люстра в большой и безлюдной столовой,
Раскрытая книга над аляповатым карнизом.
Дом творчества был здесь – какое нелепое слово, —
Оно постепенно становится анахронизмом.
Не пишет никто здесь теперь ни романы, ни стансы,
За нас перед вечностью слово пытаюсь замолвить.
Из пишущей братии в доме сегодня остался
Лишь с орденом Ленина гипсовый Серафимович.
Мне жалко советской распавшейся литературы,
Окошек пустых обветшалого этого дома,
Своих сочинений, что в школе написаны сдуру,
Героев Фадеева или же «Тихого Дона».

Печальные боги минувшей поры исполинской,
Которые голову с юных морочили лет нам!
«Титло литератора, – сказывал как-то Белинский, —
Важней, чем мундиры и блеск мишуры эполетной».
Никто их сегодня не знает уже и не ценит.
Умолкли машинки, стучавшие здесь вечерами.
И стол заседаний темнеет на брошенной сцене,
Как пыльное капище в древнем языческом храме.

Остров Израиль

Дорога в Израиль. Летя самолетом Эль-Аля
И глядя в окно, как плывут под окном облака,
За пару часов осознать успеваешь едва ли,
Как эта дорога на деле была нелегка.
Ее пролагали терпение, труд и отвага,
Мечты вековые избавить народ от беды,
Туда, где сияют цветами еврейского флага
Цвет белого камня и синей прозрачной воды.
Дорога в Израиль идет по российской глубинке,
В болотах Полесья, по краю украинских сел,
И через музеи Освенцима или Трешлики,
Где туфельки тех, кто когда-то туда не дошел.
Дорога в Израиль в потемках теряется где-то.
Там женские крики и трупы на черном снегу,
И розовый дым над варшавским пылающим гетто,
Которое дорого жизнь продавало врагу.
Дорога в Израиль идет через горные кручи,
По жаркой пустыне, где вязнут колеса в песке,
И через улыбки счастливых смеющихся внуков,
Что песни поют на забытом тобой языке.
Дорога в Израиль идет через поиски Бога,
По братским могилам погибших в неравном бою.
На свете одна существует такая дорога,
И все-таки каждый туда выбирает свою.

Мой сын от первого брака, Владимир Городницкий, в 1987 году переехал из Ленинграда в Израиль. Теперь он Зеев. Здесь у меня сейчас три внуки, три правнучки и один правнук. И еще не вечер. Сын мой – санитарный врач, работает в системе здравоохранения и по мере своих сил борется с бактериями. Уехал он по религиозным убеждениям и живет теперь в Иерусалиме, в религиозном районе Рамот Гимл. Религиозным он стал еще в Ленинграде, учась в институте. Для меня это в свое время было полной неожиданностью и большим источником переживаний. Полагаю, однако, что каждый человек вправе искать счастья и Бога там, где он его находит. И каждый вправе строить свою жизнь по собственным законам, особенно если он жил хотя бы несколько десятилетий в Советском Союзе с его неприкрытым государственным и «народным» антисемитизмом, где единственной формой диссидентства для еврейских юношей в конце 70-х годов было ощущение себя верующим, религиозным евреем.

Впервые мы с женой попали в Израиль в 1990 году, когда поехали в гости к сыну. Летели мы из Москвы польской авиакомпанией «ЛОТ» вместе с огромной группой эмигрантов, которые тогда массово выезжали. Еще в Москве, в «Шереметьево-2», откуда мы вылетали через Варшаву в Тель-Авив, мы, поначалу не разобравшись, по ошибке встали в хвост длиннющей очереди в таможенный контроль, которую, как выяснилось, занимают за несколько дней до вылета те, кто выезжает на ПМЖ. Все их вещи тщательно обыскивались и перетряхивались, и отбиралось все, что можно отобрать. Это, однако, не было последним испытанием. Уже после взлета вздохнувшие с облегчением эмигранты, с надеждой всматривавшиеся в окно самолета, еще не знали, что и тот жалкий багаж, который прошел таможенный досмотр, будет по пути

ограблен. Грабили все: грузчики «Аэрофлота» при погрузке в Москве, грузчики и сотрудники польского «ЛОТа» при пересадке в Варшаве. Грабили не тайком по мелочам, а явно, разрезая ножом кожаные чемоданы или воруя их целиком, намеренно уродуя те вещи, которые не украли, откровенно наслаждаясь своей безнаказанностью. Да и как не грабить? Во-первых, евреи, а во-вторых – люди совершенно незащитные, ничьи граждане, вроде военнопленных, – с грабителей спрашивать некому. Этот наглый грабеж был прекращен только после вмешательства посла Израиля в Польше, моего друга Мирона Гордона.

В Варшаве в самолет села группа израильских школьников, в голубых спортивных костюмах с могендовидом на спине, которые возвращались с каникул из Бельгии. Они были развязные, шумные, сидели друг у друга на голове, бегали по салону и вообще всячески игнорировали все правила приличия и нормального поведения в самолете. Девчонки мазали губы только что купленной помадой и примеряли кофточки ужасающих расцветок, мальчишки орали и пили пиво. Совершенно неуправляемая какая-то банда. Они очень раздражали пассажиров, в том числе и меня. Но, как только мы прошли облачный фронт, прозвучала команда «пристегнуть ремни» и под крылом самолета замелькали ярко-голубое Средиземное море и израильский берег с ослепительно белыми постройками, они, как по команде, подобрались, встали и запели гимн. И тут я, неожиданно для себя, заплакал. Не знаю, что со мной произошло. Это на каком-то генетическом уровне. Я был не одинок. Сидевшая перед нами пожилая чета – кавказские евреи, эмигрировавшие из Тбилиси и больше похожие на старых грузинских князей, нахмурили седые брови и прижали к глазам платки. Грузная многодетная мамаша из Черновцов начала громко всхлипывать, закрывая лицо руками. Чувства эти нетрудно понять. Помимо торжественности момента первого свидания с землей предков, для эмигрантов из Союза, летевших с нами, прибытие в Израиль означало тогда окончание тех унижений и прямого грабежа, которым они подвергались у себя дома и по пути. За последующие годы мне довелось много раз бывать в Израиле, но до сих пор помню первое открытие этой страны.

На израильском побережье Средиземного моря обычно высаживались нелегальные эмигранты, которые и до Второй мировой войны, и особенно после нее, с Кипра и из других мест, близких к Израилю, преодолевая бдительное сопротивление британских властей, все-таки добирались до Святой Земли на маленьких лодчонках, на катерах. Если ехать вдоль шоссе, от Хайфы до Тель-Авива, можно увидеть целый ряд этих маленьких корабликов, которые стали сейчас историческими памятниками эпохи. А потом началась массовая алия, и прежде всего, конечно, из Советского Союза. Многие, преодолевая сомнения, приезжали сюда на пустое место и начинали здесь новую жизнь, твердо веря в то, что в этой полупустыне найдут свое счастье и построят новую демократическую страну.

Таковыми эмигрантами были мои знакомые Фима и Виолета Кибак, приехавшие сюда много лет назад и обретшие здесь свою настоящую Родину. Здесь они женились, родили детей. Фима приехал с родителями в Израиль, когда ему было четырнадцать лет, за неделю перед Шестидневной войной, Виолета – в 1973 году, за полгода до войны Судного дня. Им довелось пережить трудные времена. Они убеждены, что это самая хорошая страна. На вопрос о том, как им живется, дружно отвечают: «Израиль – самая прекрасная страна, хотя и очень трудно здесь жить. Когда тихо – хорошо, когда теракты, то плохо». Ни в какую другую страну отсюда переезжать они уже не желают. А дети их – уже сабры. Они показали мне видеозапись их давнишней свадьбы в марте 1976 года, которую трудно смотреть спокойно. Многих, кто был на свадьбе, уже нет в живых.

В Иерусалиме, в здании на углу улицы Штрауса, в начале 90-х годов помещался русский культурный центр. Именно здесь были мои первые авторские вечера в Израиле, и с этими вечерами было связано немало довольно забавных ситуаций. Самый мой первый вечер в 91-м году вел здесь мой друг Игорь Губерман, который представил меня странным образом. Он сказал: «Вот, Городницкий, песни, стихи, это вы все знаете. Я вам сейчас скажу то, чего вы

вообще не знаете. Так вот, слушайте меня внимательно. Городницкий – первый еврей в мире и пока единственный, который погружался в океане на глубину четыре с половиной километра». В зале раздались бурные аплодисменты. На следующий день некоторые иерусалимские русскоязычные газеты вышли с моей фотографией и подписью «Наш Гагарин». Я страшно обозлился, позвонил Игорю Губерману и с употреблением столь любезной его сердцу неформальной лексики сказал все, что я о нем думаю. Он сказал: «Старик, что ты злишься? Ты проверь!» Меня заело, и я решил проверить. Действительно, я тогда участвовал в погружениях на всех типах подводных аппаратов, которые тогда были на вооружении в Институте Океанологии, где я работаю. И в Северной Атлантике в 1988 году погружался на довольно большую глубину: четыре с половиной километров. И уже у себя в родном институте, вернувшись в Россию, я разыскал документы, чтобы узнать национальность погружавшихся.

Среди них были канадцы, американцы, немцы, ну и, конечно, великий француз Жак-Ив Кусто, кстати, известный антисемит. Но евреев как будто не было. Был, правда, канадец с подозрительной фамилией Фишер, но он оказался немцем. Я уже выходил в финал, когда вспомнил, что на моем первом погружении вторым пилотом был Саша Подражанский, как и я, Александр Моисеевич. Я прибежал в отдел кадров, выпросил его личное дело, дрожащими руками развернул анкету. Слава богу, не годится, мама – русская. Так я остался первым евреем в мире, погружавшимся в океане на большие глубины на подводном аппарате. Но, как сказал на моем пятидесятилетнем юбилее мой друг, замечательный писатель Фазиль Искандер, с рюмкой в руках: «Это не считая утопленников...»

Встречаясь с аудиторией в разных городах – Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Беер-Шеве, – я все время испытывал то же ощущение, что и приезжавший в Израиль незадолго до меня Юлий Ким, который, внимательно посмотрев со сцены в зал, заявил: «Мне кажется, что я уже перед вами однажды выступал».

В пустыне Негев, в городе Арад, я неожиданно встретился со своим давним начальником – бравым когда-то морским подполковником Николаем Николаевичем Трубятчинским, под началом которого я проплавал немало лет в Атлантике на военном паруснике «Крузенштерн». Николай Николаевич происходит из заслуженного морского рода. Все Трубятчинские служили на флоте, и почти все были Николаи Николаевичи. Сюда он перебрался из Мурманска, где руководил крупной морской геофизической экспедицией, вслед за своей еврейской женой, женщиной энергичной, шумной и лишенной комплексов. Теперь бывший моряк сидит, вздыхая, у окна, за которым пылает в закате пустыня Негев, и вспоминает прошлое. После встречи с ним появилась песня:

Подполковник Трубятчинский, бывший сосед по каюте,
С кем делили сухарь и крутые встречали шторма,
Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте,
Где скрипят переборки и к небу взлетает корма.
Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело.
Не кляните судьбу, обо всем не судите сплеча!
В зазеркалье у вас все читается справа налево, —
В иудейской пустыне нашли вы последний причал.
Подполковник Трубятчинский – в прошлом надежда России —
Он сидит у окна, и в глазах его черных – тоска.
Позади океан, ядовитой пропитанный синью,
Впереди океан обожженного солнцем песка.
Подполковник Трубятчинский, что вам мои утешенья —
Где бы ни жили мы и какое б ни пили вино,
Мы – один экипаж, все мы жертвы кораблекрушенья,

Наше старое судно ушло невозвратно на дно.
Подполковник Трубятчинский, моря соленого житель,
Как попасть вы смогли в этот город безводный Арад?
Надевайте погоны, цепляйте медали на китель
И – равнение на флаг, – наступает последний парад!..
Возвращение в рай, а скорее – изгнание из рая,
Где ночные метели и вышки покинутых зон...
Подтянувши ремень, обживает он остров Израиль —
Наших новых времен, наших новых морей Робинзон.

Я пел эту песню на концерте в Беер-Шеве, а Николай Николаевич сидел в первом ряду и плакал. Пару лет назад его не стало.

Привыкший за долгое время жизни к российско-обывательскому стереотипу «еврейской внешности», уже в первые дни в Иерусалиме, выйдя на центральную улицу Яффа, я поразился многообразию лиц и одежды шумной и жизнерадостной толпы, до отказа наполнившей узкие тротуары, спешащей куда-то на автобусах и автомашинах. Здесь можно было увидеть всех – от ортодоксальных хасидов в их круглых меховых «форменных» шапках и черных чулках, как на картинах Рембрандта, и арабов в ярких бурнусах до современных хипарей в заношенных донельзя шортах. «Володя, – растерянно обратился я к сыну, откровенно потешавшемуся над моим замешательством, – это что, все евреи?» – «Конечно», – засмеялся он. «Нет, погоди, ну, эти-то в черных лапсердаках, понятно, но вот эти здоровые и белобрысые, в ковбойках?» – «Евреи». – «Ну ладно, допустим, но уж эти восточные красотки из «Тысячи и одной ночи», типично гаремные женщины?» – «А это тайманки – еврейки из Йемена». – «Ну вот эти-то, наконец, негры», – обрадовался я, увидев на противоположной стороне улицы нескольких здоровенных парней шоколадного цвета с курносими и приплюснутыми африканскими носами, обряженных в хаки и алые береты, с американскими автоматами «М-16» через плечо. – «Ничего подобного, – видишь, у одного из них кипа на голове? Это африканские евреи – фалашим». За этим последовала небольшая лекция о том, что знаменитая царица Савская, возглавлявшая когда-то «правительственную делегацию» к легендарному царю Соломону, возвратилась к себе в родную Эфиопию слегка беременной от израильского царя, что и дало начало чернокожим евреям – фалашим. Мне рассказывали, что черные евреи, приехавшие сюда из Африки, впервые узнали, что существуют, оказывается, белые евреи.

Действительно, Израиль – страна эмигрантов, маленькое подобие США. В Тель-Авивском университете, где мне довелось читать лекции на геологическом факультете, есть большой музей еврейской диаспоры. Там, в частности, выставлены макеты еврейских синагог в разных странах мира. Разглядывая их, можно удивляться их несходству, тому, как отличается бревенчатая литовская синагога от классической пагоды китайских евреев. Возвратившись на Землю обетованную, беглецы принесли сюда с собой обычаи и привычки всех народов, среди которых они жили веками. Отсюда бесконечное разнообразие облика городков и поселков на небольшой территории Израиля, уже упомянутое мной.

Своеобразие Израиля, его островная эндемичность не только в ландшафтах, неповторимом концентрате раритетов и святынь человечества. Это еще и удивительная, непривычная для нашего менталитета атмосфера доброжелательства. Услышав русскую речь в автобусе или на улице, прохожие запросто обращаются к вам с вопросами: «Давно приехали? А как с работой, уже устроились? Как это в гости? Вы что, всерьез собираетесь возвращаться туда? Это же безумие! Хаим, объясни им, что они самоубийцы. Конечно, трудно, конечно, чужой язык, но ведь здесь можно жить». И все это несмотря на нехватку рабочих мест и жилья, на растущую конкуренцию и недостаток средств.

Новый тип отношений между людьми безусловно оказывает влияние на упорное нежелание правительства и кнессета вводить смертную казнь даже для террористов, убивающих женщин и детей. Об этом прекрасно осведомлены арабские террористы из «Хамаза» и других бандитских организаций, которые хладнокровно режут детей, женщин и стариков, сознавая свою безнаказанность. Введения смертной казни требуют в основном выходцы из России, но дух ненависти, столь характерный для нашей распавшейся державы, еще не возобладал в маленькой, окруженной врагами стране. Хотелось бы надеяться, что и не возобладает.

По поводу величины Израиля обычно рассказывают анекдот: «Завтра с утра поедем смотреть страну». – «А что мы будем делать после обеда?» Но недаром говорится, что Израиль кажется небольшим снаружи и большим изнутри. Если ехать с севера на юг, то на протяжении нескольких часов полностью меняется ландшафт – от снежной вершины Хермона и лесистой Галилеи на севере до лунного пейзажа долины Мертвого моря и желто-красной пустыни Негев на юге. А когда ныряешь с маской на красноморские коралловые рифы в Эйлатской бухте, обретаешь полную уверенность, что проехал уже добрую половину земного шара и находишься где-нибудь в Океании. Может быть, и вправду Бог, как на пробном полигоне, сначала создал все виды ландшафтов здесь, а уже потом распространил их на всю планету? А может быть – дело не только в природных ландшафтах, но и в многообразии и живописности местного населения? Так, в Нахариин с ее нидерландским каналом и чистенькими, как в Германии, улочками – это Северная Европа, в Кесарии – Рим и Афины, в Яффе и Акка – неряшливый и многоцветный Восток, в Эйлате – Вайкики-Бич, в Тель-Авиве – Южная Европа.

Многообразие и бесконечность этого удивительного микроконтинента, столь отличного от других стран, подчеркивается прежде всего сердцем его – Иерусалимом, где сразу, независимо от конфессиональной принадлежности, любой человек физически ощущает, что находится в центре Вселенной, в Святой Земле. Как получилось так, что начала и главные святыни трех основных человеческих религий сосредоточились на этой крохотной территории, где рядом со Стеной Плача у руин разрушенного Храма с одной стороны Голгофа и Гроб Господень, а с другой – золотой купол мечети над гробницей Омара? Здесь поневоле убеждаешься в удивительном триединстве человеческой истории и культуры.

Помню, как, впервые увидев в лучах заходящего солнца неожиданно открывшийся нам на перевале дороги Иерусалим, так гениально описанный никогда не бывавшим здесь Михаилом Булгаковым, я сказал сыну, который вез меня к себе в Рамот из аэропорта Бен-Гурион: «Какой странный город. Я ведь видел другие великие города – Рим, Париж, Афины, Лондон, Токио, но этот ни на что не похож». «На что он должен быть похож? – удивился сын. – Он ведь их всех древнее. Это они могут быть на него похожи».

Иерусалим – единственный город, который многие тысячелетия является духовным центром мыслящего человечества. Три основные религии, выросшие из общего корня, пошли отсюда. Здесь Стена Плача (Котель) – все, что осталось от Храма, разрушенного римлянами, мечети, в том числе и та знаменитая мечеть с золотым куполом, которая по ошибке называется «Гробница Омара». Здесь находятся и христианские святыни – Голгофа и Гроб Господень. В Иерусалиме сталкиваешься со всеми основными конфессиями: иудейской, мусульманской и христианской. Поэтому город этот удивительный, аккумулирующий в себе огромную духовную энергию. Не случайно Иерусалим называют святым местом – «Холи Ленд». Любой человек – католик, православный, иудей, мусульманин, даже не верующий в Бога и не знающий, что такое религия, – почти на физическом уровне ощущает, что находится на Святой Земле.

В Иерусалиме на Сионской горе находится могила знаменитого царя Давида (у арабов – Дауда), которого почитают и евреи, и христиане, и мусульмане. Над гробницей царя Давида находится помещение, где происходила Тайная вечеря. Иисус собрал своих учеников в субботу, да еще в праздничную, не где-нибудь, а именно здесь – над могилой святого праотца. Рядом дворик, где Иисуса бичевали, надели на него терновый венец, и прямо от этого дворика

начинается крестный путь на Голгофу, где, поближе к Гробу Господню, прижимаясь друг к другу, стоят церкви всех христианских конфессий. А на противоположном склоне Сиона – уже за стенами Старого города, поставленными в XVI веке Сулейманом Великолепным – можно увидеть церковь над могилой Богородицы, напротив которого в Гефсиманском саду стоит храм Марии Магдалины, где легионеры арестовали Христа и где сразу вспоминается «Моление о чаше».

В самом храме хранятся мощи причисленной к лику святых мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, вдовы великого князя Сергея Александровича, разорванного в Москве на куски бомбой террориста-эсера Каляева. В 1918 году большевики, изводя под корень царскую семью, сбросили Елизавету Федоровну в Алапаевске в шурф шахты. Так трагическая история России переплетается здесь с мировой историей. Когда, впервые попав в Иерусалим, я спросил у моей знакомой Виолеты, как проехать к Стене Плача, она ответила: «Зачем вам Стена Плача? Прижмитесь к любой и плачьте!»

Всего несколько остановок автобуса отделяет это место от шотландского монастыря, где похоронено львиное сердце короля Ричарда. А другой вождь крестоносцев – Готфрид Бултонский, конная статуя которого красуется на площади Брюсселя, – похоронен прямо под ступенькой лестницы, ведущей в храм Гроба Господня. Еще дальше – монастырь Креста, основанный Шота Руставели, который прожил в нем свои последние годы. Называется он так потому, что поставлен на месте, где срублено было дерево, пошедшее на крест для распятия.

Так что недаром Палестину называют Святой Землей. Древнееврейские, христианские, эллинические, римские, мусульманские древности, вся мировая история вплоть до Бонапарта с его полулегендарными деяниями в Яффе и Акке, завязались здесь когда-то в единый узел, наглядно воплощая физическую модель расширяющейся Вселенной. Одна эпоха сменяется другой, но все связано. Весь Иерусалим выстроен из бело-розового камня – и стена Второго Храма, и римские и эллинические храмы, и мечети, и городская стена, воздвигнутая Сулейманом Великолепным, и современные кварталы. (Последнее обстоятельство связано с тем, что во времена английского владычества, уже после Второй мировой войны, англичане разрешали ставить здесь дома только из этого камня.)

Мои отношения с Богом достаточно сложны. Еще в довоенном ленинградском детстве одна из моих нянек, набожная старуха из Вологодской области, решила спасти жиденка и пыталась меня окрестить, приучая к церковным литургиям. Но началась антирелигиозная кампания, с церковью сорвали кресты. На этом все закончилось, а потом была война и другая жизнь.

Дети, пожалуй, главное, что поражает в Израиле. В этой стране ты постоянно живешь в их окружении, поскольку Израиль – прежде всего страна детей, и, как думается поначалу, весьма распушенных. Так казалось в первое время и мне, когда я видел бойкие стайки школьников, вольготно лежащих на полу в залах музея или с невероятным шумом вылетающих на улицу из школы (конечно, не в религиозных кварталах). На фоне наших затурканных детей, в обстановке всеобщего запрета – того нельзя, этого нельзя, не смей то, не смей это, – они производят впечатление, скажем, диких гусей на фоне домашних. Дети, родившиеся здесь, уже сабры. Сабра – означает – колючее растение, кактус. Они могут дерзко ответить, проявить непослушание, но всегда смогут за себя постоять. Детям здесь с малолетства внушается уважение к личности каждого, чувство собственного достоинства, и эффект это дает удивительный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.